

РОМЕН ГАРИ

Леди Л.

ROMAIN GARY

Lady L.

im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари
Леди Л.

Romain Gary
Lady L.

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Издательство Симпозиум, 2000
©Л. Бондаренко, А. Фарафонов,
перевод с французского, 1993
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

Ах, надо же мне было вас увидеть
И, полюбив, об этом вам сказать,
Чтоб вы, не побоясь меня обидеть,
Решили все же гордо промолчать.

Ах, надо же так было полюбить,
Чтоб вы надеждою меня не одарили,
Чтобы я стала вас боготворить,
А вы меня за это погубили!

«Ода человечеству»

Посвящается

Альфонсом Алле – Яне Авриль

Глава I

Окно было открыто. Букет тюльпанов, выделявшийся в свете летнего дня на фоне голубого неба, напомнил ей о Матиссе, которого преждевременная смерть унесла недавно в возрасте восьмидесяти лет, и даже осыпавшиеся желтые лепестки вокруг вазы как будто подчинились кисти мастера. Леди Л. казалось, что природа начинает выдыхаться. Великие художники взяли у нее все: Тернер украл свет, Буден – воздух и небо, Моне – землю и воду; Италия, Париж, Греция, в изобилии развешанные по всем стенам, уже стали привычными штампами; то, что де было еще написано, было сфотографировано, и сама земля все больше и больше походила на потрепанную девку, которую раздевало слишком много рук. А может быть, она зажилась на этом свете? Англия отмечает сегодня ее восьмидесятилетие, и журнальный столик завален письмами и телеграммами, многие из которых пришли из Букингемского дворца: каждый год повторяется одно а то же, все неуклюже намекают, что пора бы уж вам подвести черту. Она с укоризной взглянула на желтые тюльпаны, недоумевая, как могли цветы попасть в ее любимую вазу. Леди Л. не переносила желтого цвета. Это был цвет измены, подозрения, цвет ос, эпидемий, одряхления. Она строго посмотрела на тюльпаны, и вдруг ее осенила догадка!.. Но нет, это невозможно. Никто не знает. Просто недосмотр садовника.

Все утро она провела в кресле, сидя перед распахнутым окном, прямо напротив павильона, прислонив голову к подушечке, с которой не расставалась даже во время путешествий. Вышитый орнамент изображал зверей, нежно соединившихся в чарующей тиши Эдема; особенно ей нравился лев: он брался с ягненком и леопардом, влюбленно лизавшим ухо лани, – все как в жизни. Наивная фактура рисунка также подчеркивала бездонный, хотя и вполне терпимый идиотизм сцены.

Шестьдесят лет великого искусства в конце концов внушили ей отвращение к шедеврам; она все больше и больше отдавалась своему увлечению лубочными картинками, почтовыми открытками и викторианскими изображениями добрых псов, спасающих тонущих младенцев, котят с розовыми шелковыми ленточками и любовников в лунном свете, – всему тому, что так приятно отвлекает вас от гениев с их непомерно высокими и утомительными претензиями. Рука ее лежала на набалдашнике трости; впрочем, она прекрасно могла обходиться и без нее, однако трость придавала ей вид пожилой дамы, который вовсе не соответствовал ее натуре, но которого все от нее ждали: старость была еще одной условностью, которую ей приходилось теперь соблюдать. Ее глаза улыбались позолоченному куполу летнего павильона, вырисовывавшемуся поверх каштанов на фоне английского неба, этого благопристойного неба с аккуратно уложенными на нем облаками; его бледно-голубой оттенок наводил на мысль о платьях ее внучек, в которых не было ни малейшего намека на индивидуальность или воображение; это небо, казалось, одевается у портного королевской семьи, нейтрально, строго и *комильфо*.

Леди Л. всегда считала, что английское небо нагоняет тоску. Невозможно было даже и представить, что оно способно на какую-нибудь тайную тревогу, гнев, какой-нибудь порыв; даже в ненастье ему недоставало драматичности; самые сильные его грозы ограничивались поливкой газонов; его молнии сверкали вдали от детей и людных дорог; по-настоящему самим собой оно было, лишь когда в однообразии ненавязчиво-изысканных туманов моросил мелкий, равномерный дождик; это было небо-зонтик, с хорошими манерами, и если оно позволяло себе иногда разыграться, то лишь потому, что повсюду были громоотводы. Единственное, что она

просила еще у неба, – это одолжить свою прозрачность позолоченному куполу, чтобы она могла, часами сидя вот так у окна, смотреть, вспоминать, грезить.

Павильон был выстроен в модном во времена ее молодости восточном стиле. Там у нее были собраны картины на тему турецкой жизни, которые она коллекционировала с такой изощренностью дурного вкуса и с таким вызовом подлинному искусству, что одним из величайших моментов в долгой карьере ее иронии явился тот день, когда сам Пьер Лоти, особой милостью допущенный в храм, даже всплакнул от волнения.

– Наверное, я уже никогда не изменюсь, – внезапно произнесла она вслух. – Я немного анархистка. Конечно, быть анархисткой в восемьдесят лет весьма обременительно. Но и романтично, вдобавок ко всему, хотя это и мало что меняет.

Свет играл у нее на лице, где следы возраста проявлялись лишь в сухости кожи оттенка слоновой кости, к которому она никак не могла привыкнуть и которому удивлялась каждое утро. Свет, казалось, тоже постарел. В течение пятидесяти лет сохраняла она весь свой блеск; сейчас она увядала, тускнела, соскальзывала к серым тонам. Но она еще совсем неплохо ладилась с ним. Ее тонкие и чувствительные губы вовсе еще не походили на засохших козявок, застрявших в паутине морщин; только глаза стали, разумеется, бесстрастнее, а появившиеся в них саркастические искорки умерили другие, более пылкие и более сокровенные огни. Своим умом она прославилась не меньше, чем красотой: ирония, которая никогда не запаздывала, которая била в цель, не ранила, с изяществом учителей фехтования, умеющих демонстрировать свое превосходство, не унижал. Теперь эти игры стали очень редки: она пережила все, что могло удостоиться чести стать для нее мишенью. Молодые люди смотрели на нее с восхищением: чувствовали, какой женщиной она была когда-то. Сознать это довольно мучительно, однако надо было уметь быть тем, кто ты есть, не забывая того, вен ты была.

Впрочем, сейчас не та эпоха, когда по-настоящему любят женщин. И все же это лицо, которое так долго было ее лицом. . . Она его больше не узнавала. Подчас ей доводилось смеяться над ним, что и вправду было *чересчур* забавно я чего она, надо признать, не предусмотрела: ею так долго восхищались, ей столько льстили, что она не допускала даже мысли, что подобное может случиться с ней, что время способно на такое коварство. Какая все-таки скотина – ни с чем не считается! Она не жаловалась, но это ее раздражало. Глядя в зеркало – иногда без этого было нельзя, – она всякий раз пожимала плечами. *Слишком* нелепо. Леди Л. прекрасно сознавала, что сейчас она всего лишь «очаровательная старая дама» – да, после всех этих лет, потраченных на то, чтобы быть дамой, вопреки всему. «Еще видно, что прежде она была очень красива. . .» Улавливая этот ханжеский говор, она с трудом сдерживалась, чтобы не вымолвить одно типично французское слово, вертевшееся у нее на языке, и делала вид, что не расслышала. То, что так помпезно называют «преклонным возрастом», заставляет вас жить в атмосфере хамства, и каждый знак внимания только усиливает это ощущение: вам приносят трость, когда вы об этом не просите, подают руку, стоит вам только сделать шаг, закрывают окна, как только вы появляетесь, вам нашептывают: «Осторожно, ступенька», – как будто вы слепы, и с вами говорят таким приторно-жизнерадостным тоном, словно знают, что завтра вы умрете, и пытаются от вас это скрыть. Она испытывала мало радости от сознания того, что ее темные глаза, ее изящный и вместе с тем резко очерченный нос – который при каждом удобном случае называли «аристократическим носом», – ее улыбка – знаменитая улыбка Леди Л. – по-прежнему заставляют всех оборачиваться ей вслед; она слишком хорошо знала, что в жизни, как и в искусстве, стиль – единственное спасение для тех, кому больше нечего предложить, и что ее красота еще может вдохновить художника, но любовника – нет. Восемьдесят лет! В это трудно было поверить.

– Ну и что с того, черт возьми! – сказала она. – Через двадцать лет не останется никаких

следов.

После более чем пятидесяти лет, прожитых в Англии, она все еще думала по-французски.

Справа виднелся главный вход в замок с колоннадами и веерообразной лестницей, услужливо спускавшейся к лужайкам; Ванбру, бесспорно, был гением тяжести; все построенное им давило на землю словно в наказание за ее грехи. Пуритане внушали Леди Л. отвращение, и она подумывала даже, не выкрасить ли ей замок я розовый цвет, но если она чему-либо научилась в Англии, так это умению сдерживать свои порывы даже тогда, когда можно себе все позволить, и стены Глендейл-Хауза остались серыми. Она довольствовалась тем, что украсила все четыреста комнат объемной настенной росписью в итальянской манере, и ее Тьеполо, Фрагонары и Буше доблестно сражались со скукой выстроившихся в ряд огромных залов, где все, казалось, было готово к прибытию поезда.

По главной аллее медленно проехал «роллс-ройс», остановился у крыльца, и старший из ее внуков, Джеймс, подождя, пока шофер откроет дверцу, вынырнул из автомобиля с кожаным портфелем под мышкой.

Леди Л. не переносила кожаных портфелей, банкиров, семейных сборищ и дней рождения; она ненавидела все, что было комильфо, зажиточно, самодовольно, высокопарно и нашпиговано условностями, однако она выбрала это, не колеблясь, сумела дойти до конца. В течение всей своей жизни она занималась беспощадной террористической деятельностью, и развернутая ею кампания увенчалась полным успехом: ее внук Роланд – министр, Энтони должен скоро стать епископом, Ричард – подполковник королевского полка» Джеймс возглавляет Английский банк, а ее соперница как раз больше всего ненавидела полицию и армию, если не считать церковь и богачей.

«Это научит тебя уму-разуму», – подумала она, глядя на павильон.

Семья ждала ее в соседней комнате, собравшись вокруг безобразного торта, испеченного в честь именинницы, и надо было продолжать играть роль. Их было там по меньшей мере человек тридцать, недоумевавших, отчего она оставила их так внезапно, без всяких объяснений, и что она может делать одна в зеленой гостиной с попугаями. Но она никогда не была одна, разумеется.

Итак, она встала, намереваясь присоединиться к внукам и правнукам. Из них она любила лишь одного, младшего, у которого были дерзкие темные глаза необычайной красоты, локоны с рыжеватыми отблесками и приводившая ее в восторг порывистость, нарождающаяся мужественность: сходство было просто разительным. Очевидно, наследственность часто проявляется таким образом, перескакивая одно или два поколения. Она не сомневалась, что он натворит ужасных дел, когда вырастет: ему передались гены экстремизма, это сразу чувствовалось. Выть может, она подарила Англии нового Гитлера или Ленина, который все разнесет в пух и прах. На него она возлагала все свои надежды. С такими глазами он наверняка заставит говорить о себе. Что касается остальных мальчуганов, чьи имена она постоянно путала, то они пахли молоком, и больше сказать о них было нечего. Ее сын редко бывал в Англии: по его теории, надо пользоваться миром, пока он приходит в упадок.

Все ее друзья умерли молодыми. Гастон, управляющий ее делами во Франции, «имел глупость» оставить ее в шестьдесят семь лет. Теперь умирают все больше и больше. Леди Л. подумала, какое невероятно большое число близких она пережила. Собаки, кошки, птицы исчислялись сотнями. Жизнь зверя так печально коротка: она уже давно перестала заводить животных – ей опротивело хоронить их – и оставила подле себя только Перси. Это было *слишком* ужасно. Только начинаешь привязываться к живому существу, понимать и любить его, как оно неожиданно тебя покидает. Она не выносила расставаний и привязывалась теперь только к предметам. Чаще всего самыми благополучными оказывались те дружеские

отношения, что она поддерживала с *вещами*; они по крайней мере никогда вас не покидают. Ей нужна была компания.

Она открыла дверь и вошла в серую гостиную – ее по-прежнему называли серой из-за того, что таким был ее первоначальный цвет; однако прошло уже более сорока лет, как она велела украсить стены бело-золотистой деревянной обшивкой, по которой бродили в виде объемной настенной живописи воздушные персонажи итальянских комедий, а их легкие пируэты успешно боролись с надменно-угрюмой холодностью места.

Первым, кто встретил ее взглядом, содержащим в себе едва заметный упрек – ее ждали уже больше часа, – был, разумеется, Перси, ее верный рыцарь, ее «чичисбей», как говорили в былые времена: несмотря на всю его скромность, заискивающая предупредительность и постоянное внимание, которым он ее окружал, не могли не вызывать у Леди Л. легкого раздражения. Сэр Перси Родинер, вот уже двадцать лет носящий звание Поэта-Лауреата английского двора, то есть официального певца Короны, последнего барда империи, – сто двадцать правительственных од, три тома поэм, приуроченных к разным случаям: рожденьям в королевской семье, коронациям, кончинам, всякого рода победам, – вместе с сэром Джоном Мейсфилдом мужественно держался в первых рядах британского *bel canto* со времен Ютландского сражения до Эль-Аламейнской операции, совершив нечто поистине омерзительное: он примирил поэзию с добродетелью и был даже избран в «Будлз»*, не получив ни одного голоса против. Во всяком случае, он пережил всех других близких ей животных; она привязалась к нему в вполне бы искренне сожалела, если бы его вдруг не стало. Хотя ему и было всего семьдесят, выглядел он гораздо старше. Внешне он немного походил на Ллойда Джорджа: такая же пышная белая шевелюра, такой же благородный лоб, такие же тонкие черты лица, но на этом сходство и кончалось. Великий уэльсец по-настоящему любил женщин и умел обходиться с ними жестоко, тогда как Леди Л. была искренне убеждена в том, что бедняга Перси – девственник. Раза два или три она пробовала совратить его с помощью очаровательных дам полусвета, с которыми была знакома, но каждый раз Перси сбегал в Швейцарию.

– Дорогая моя Диана. . .

Ей очень шло это имя. . . Дики выбрал его сам, после долгих колебаний между Элеонорой и Изабеллой. Но Элеонора ассоциировалась с черным, возможно из-за Эдгара По, а Изабелла неотвратимо вызывала в памяти грязную ночную сорочку королевы с таким же именем.

В конечном счете он остановился на Диане, потому что это ассоциировалось с очень белым.

– Мы уже начали волноваться.

Леди Л., бывало, спрашивала себя, не глумится ли Перси в парках над маленькими девочками, не развратник ли он, искусно маскирующий свою игру, не педераст ли, прибегающий к услугам своего лакея или позволяющий измываться над собой проститутке в каком-нибудь уголке Сохо? Но это в ней говорил своего рода романтизм юной девушки, пережившей немало испытаний, и ее надежды давно уже померкли перед буквально вызывающей тошноту нравственной целостностью, которая, будто некая зловещая радиация, исходила от Перси. Он был действительно уважаемым человеком, и один Бог знает, как сюда затесалась поэзия. Кстати, он являлся также единственным мужчиной – из тех, кого она знала, – с подобострастным взглядом верной собаки, хотя у него и были голубые глаза. Она его очень любила, несмотря ни на что. Перед ним она легко могла сбросить маску пожилой дамы, забывала об условностях преклонного возраста и свободно, со всей бесцеремонностью и свежестью двадцатилетней девушки, самовыражалась; время не старит, а навязывает вам свой маскарадный костюм. Леди Л. нередко задавалась вопросом, что она будет делать, если действительно станет когда-

*«Будлз» – известный лондонский аристократический клуб, основанный в 1762 году.

нибудь старой. У нее не было ощущения, что такое может с нею случиться, но зарекаться нельзя никогда: жизнь способна выкинуть любой фокус. Ей оставалось еще несколько полноценных лет: затем наверняка что-то произойдет, но что точно, она не знала. . . Единственный выход, когда наступит старость, – это удалиться в свой дивный сад в Бордигере и искать утешения среди цветов.

Она согласилась выпить чашку чая. Перед ней заискивала вся семья, и это было довольно неприятно. Ей так и не удалось свыкнуться с мыслью, что она дала начало этому стаду: более тридцати голов. Глядя на них, она не могла даже сказать: «Я этого не хотела». Напротив, она этого хотела, сознательно, умышленно: это было делом всей ее жизни. Тем не менее не поддавалось разумению, как такая безумная любовь, такая нежность, чувственность и страсть могли привести к появлению этих бесцветных и чопорных персонажей. Поистине это было невероятно и довольно обременительно. Это бросало тень сомнения на любовь, дискредитировало ее. «Вот было бы замечательно, если бы можно было им все рассказать, – подумала она, маленькими глотками потягивая чай и иронично наблюдая за ними. – Вот было бы забавно увидеть смятение и ужас на их самоуверенных лицах. Несколько слов хватило бы, чтобы их мир – такой комфортабельный – обрушился вдруг на их благородные головы». Как это было заманчиво! Но не боязнь скандала сдерживала ее. Она вздрогнула и крепче стянула на плечах индийскую шаль. Ей было приятно ощущать легкое и теплое прикосновение кашемира у себя на шее. Ей казалось, что жизнь ее испокон веков была не чем иным, как непрерывной сменой шалей – сотни и сотни шерстяных и шелковых объятий. Кашемировые шали» в частности, могли быть очень нежными.

Она вдруг заметила, что Перси говорит с ней. Он стоял рядом с чашкой чая в руках, в окружении одобряющих и сдержанно веселых лиц. У Перси был необычайный талант к штампам: ему даже в банальности удавалось достигать величия, иногда превращавшего его речи в своего рода великолепный вызов оригинальности.

– Такая благородная жизнь, – говорил он. – Этой грубой и вульгарной эпохе следует знать о ней, чтобы озариться ее светом. Моя дорогая Диана, с одобрения ваших близких – я бы даже сказал, по их настоятельной просьбе – я, по случаю вашего дня рождения, прошу вас разрешить мне написать вашу биографию.

«Да уж, веселенькая получилась бы история», – подумала она по-французски.

– Слишком рано, вы не находите, Перси? – спросила она. – Подождем еще немного. Быть может, со мной произойдет что-нибудь интересное. Жизнь без приключений, как у меня, – да это же скука смертная.

Все вежливо запротестовали. Она наклонилась к своему правнуку Эндрю и ласково потрепала его по щеке. У него действительно были красивые глаза. Черные, слегка насмешливые, неистовые. . . «Он еще заставит их страдать», – удовлетворенно подумала она.

– У него глаза совсем как у прадедушки, – сказала она и вздохнула. – Сходство необыкновенное.

Мать малыша – Леди Л. отметила ее анекдотическую синюю шляпку с птицами и цветами, от которой содрогнулась бы сама принцесса Маргарет, – как будто удивилась:

– Но я считала, что у герцога были голубые глаза?

Леди Л. не ответила и повернулась к ней спиной. «Еще одна», – констатировала она, переключаясь на этот раз на голову дурнушки, которая была, если ей не изменяла память, супругой ее сына Энтони, протестантского пастора. Она внимательно посмотрела на шляпку: крем был действительно превосходным.

– Какой чудесный праздничный торт, – сказала она, разглядывая шляпку еще долю секунды, прежде чем перевела взгляд на кондитерское изделие, лежавшее на серебряном подносе.

Затем надо было сказать несколько слов неудачнику семьи, Ричарду, подполковнику королевского полка. После ликвидации Религии и Армии оставались только Правительство и Английский банк, и она решительно направилась в их сторону. Роланд довел до совершенства это очень английское искусство – быть совершенно незаметным, чтобы лучше бросаться в глаза. Уже много лет он возглавлял скромное министерство, но отсутствие лоска и сильного личностного начала, его бесцветная внешность и его совершенно невыразительный характер привлекли внимание премьер-министра: поговаривали, что он сменил Идена на посту министра иностранных дел; партия консерваторов как будто даже отдавала ему предпочтение перед Рэбом Батлером и уже видела в нем соперника Макмиллана. Его заурядные качества были сродни тем, от которых в Англии ждут чего-то великого. Леди Л. казалось невероятным, что истинный аристократ может так домогаться власти: когда человек из престолярства стремится попасть в правительство, это понятно, но то, что старший сын герцога Глендейла мог так опуститься, ее просто шокировало. Управление – это интендантское ремесло, и вполне нормально, что народ выбирает своих слуг, это, в конце концов, и есть демократия. Она спросила его о жене и детях, притворившись, будто забыла, что они здесь, и Роланд терпеливо предоставил ей эти лишние всякого интереса сведения; в сущности, это было единственное, о чем они могли говорить.

Торжество подходило к концу. Остался только ритуальный снимок, который делал каждый год придворный фотограф для обложки «Татлера» и «Иллюстриейтед Лондон Ньюз», а затем – прощание, но оно будет недолгим. И она избавится от них до Рождества. Она зажгла сигарету. Ей всегда казалось чрезвычайно странным и забавным, что можно курить при всех: ей трудно было привыкнуть к мысли, что сейчас это практикуется повсеместно. Ее внуки продолжали болтать о пустяках, и она то и дело милостиво наклоняла голову, как бы прислушиваясь к тому, что они говорили. Она никогда не любила детей, и то обстоятельство, что, некоторым из них было уже за сорок, делало все это довольно комичным. Ее так и подмывало сказать им, чтобы они пошли погуляли, вернулись к своим детским забавам, в свой Парламент, в свои банки, клубы, штабы. Дети в особенности невыносимы, когда становятся взрослыми, они донимают вас своими «проблемами», налогами, политикой, деньгами. Ведь сегодня уже не стесняются говорить о деньгах в присутствии дам. Прежде о деньгах не беспокоились: их либо имели, либо влезали в долги. Сегодня на женщин все больше и больше смотрят как на равных с мужчинами. Мужчины раскрепостились. Женщины перестали царствовать. Даже проституция оказалась под запретом. Никто не умел больше вести себя: к вам едва ли не приводили американцев на ужин. В ее молодости американцы просто не существовали: их еще не открыли. Годами можно было читать «Тайме» и не найти там ничего, кроме нескольких репортажей об исследователях, вернувшихся из Соединенных Штатов.

Специально для нее приготовили кресло: оно не менялось уже сорок пять лет, и его всегда ставили в одно и то же место, под портрет Дики кисти Лоуренса и ее портрет, написанный Болдини, – и вот уже вокруг нее порхает фотограф, вихляя задом херувима. В наше время все – педерасты. Один Бог знает почему. Миньонов она не переносила, она слишком любила мужчин, чтобы относиться к этому явлению как-то иначе. Конечно, миньоны существовали и в пору ее молодости, однако они не высывались, меньше шелестели, и попки их не были такими выразительными. Она осуждающе посмотрела на юное голубое создание и подумала, не сказать ли ему что-нибудь неприятное: какое . все-таки бесстыдство – прийти, чтобы благоухать тут «Шапарелли». Но сдержалась: она оскорбляла только людей своего круга. Завтра фотография появится во всех газетах. Так повторялось каждый год.

Она носила одну из знаменитейших фамилий Англии и длительное время шокировала, раздражала и даже возмущала общественность своей экстравагантностью, а может быть, и

красотой. Ее французское происхождение служило до какого-то момента оправданием необычайному совершенству черт ее лица, совершенству, чрезмерно обращавшему на себя внимание; но все же не следовало перегибать палку, и она много путешествовала из уважения ко Двору и к обществу, не любившему, когда его будоражили. Уже давно ей все прощалось: она в некотором смысле была частью народного достояния. То, что в ее характере прежде считали эксцентричным, сегодня уважительно называли привлекательными, типично британскими чертами оригинальности. Итак, она устроилась в кресле, положив руку на набалдашник трости, приняв позу, которой от нее ждали, и даже попыталась подавить улыбку, которая всегда ее немного выдавала; Правительство уселось справа, Церковь – слева. Английский банк и Армия – сзади, а все остальные расположились тремя рядами по принципу убывающей важности. Когда съемка была закончена, она согласилась выпить еще одну чашку чая – единственное, чем можно было заняться в Одной компании с англичанами.

Как раз в эту минуту она расслышала слова «летний павильон» и сразу насторожилась. Говорил Роланд.

– Боюсь, на этот раз уже ничего не удастся сделать. В этом месте решили проложить автомагистраль. До наступления весны его необходимо снести.

Леди Л. поставила чашку. На протяжении нескольких лет семья пытается убедить ее продать павильон и прилегающий к нему участок: слишком обременительными якобы становились налоги, росли расходы на содержание поместья, словом, всякий вздор. Она никогда не придавала значения этим смешным словам и пресекала любую дискуссию на эту тему пожатием плеч – жест, о котором говорили, что он «типично французский». Однако сейчас речь шла уже не о семье. Правительство проголосовало за экспроприацию: работы начнутся весной. Павильон был обречен. «Разумеется, – уверенно заключил он, – должны быть компенсации. . . » Она испепелила его взглядом: компенсации, в самом деле! У нее собираются отнять единственный смысл ее существования, а этот несчастный кретин болтает о компенсациях.

– Чушь, – твердо заявила она. – Я и не собираюсь уступать.

– Увы, Лапочка-Душенька, мы не в силах этому помешать. Мы не можем идти против законов нашей страны.

Чушь! Ничего не стоило изменить законы: для этого они и существуют. Она им уже сто раз говорила: павильон представляет для нее большую духовную ценность. В конце концов, партия консерваторов пока еще у власти: кругом друзья. Они могут уладить это пустячное дельце, не беспокоя ее.

Вопрос казался ей закрытым: она давно уже привыкла, что ей не смеют перечить. Поэтому она была просто шокирована, обнаружив, что семья как ни в чем не бывало возобновляет попытку. Они держались очень корректно, были очень предупредительны, заняли учтливую, но твердую позицию: участок должен стать собственностью государства. Какой подарок лейбористской партии в преддверии выборов, если газетчики, только и ищущие повода, чтобы поиздеваться над видными людьми, объявят, что семья одного из членов правительства, одна из известнейших семей в стране, противится строительству новой дороги и хочет провалить проект, призванный содействовать развитию всего региона. Достаточно уже того, что на так называемые «привилегированные классы» обрушиваются с нападками социалисты; никоим образом нельзя лить воду на их мельницу. Павильон был обречен.

– Положение обязывает, – произнес Роланд с тем мастерством говорить банальности, благодаря которому консерваторы считали его одним из надежнейших ораторов своей партии.

Он сделал хитрое лицо – сейчас он превзойдет самого себя:

– Положение обязывает, а в условиях демократии – тем более.

Леди Л. всегда считала, что демократия – не что иное, как манера одеваться, однако было

не время их шокировать. Она сделала то, чего никогда с ними не делала: попыталась их разжалобить. Она не представляет себе жизни без предметов, собранных ею в павильоне; о том, чтобы расстаться с ними, не может быть и речи. Ну что же, если она настаивает, предметы можно куда-нибудь перевезти.

– Куда-нибудь перевезти? – повторила Леди Л.

Ее вдруг охватило чувство растерянности, близкое к панике, и она вынуждена была сделать над собой усилие, чтобы не разрыдаться в присутствии этих чужаков. Вновь ей захотелось обо всем рассказать, выложить всю правду, чтобы покарать их за их самонадеянное чванство. Но она сумела сдержаться: это вовсе не было достаточным основанием, чтобы в один миг разрушить дело всей жизни. Она встала, потуже стянула шаль на плечах, обвела собравшихся взглядом и, не сказав ни слова, покинула комнату.

Они остались стоять, немного растерянные и смущенные, пораженные этим внезапным уходом, этой неистойвой юностью жеста и взгляда, немного взволнованные даже, несмотря на беспечный и снисходительный вид, которым они щеголяли.

– Не правда ли, она всегда была немного эксцентричной? Бедная Лапочка-Душенька, она не понимает, что время изменилось.

Глава II

Сэр Перси, разумеется, последовал за ней, прилагая такие трогательные усилия, чтобы ее успокоить, – он пойдет к премьер-министру, напишет письмо в «Таймс», выступит против вандализма государственных органов, – что она нежно взяла его за руку и очаровательно ему улыбнулась сквозь слезы. Она знала, что нежные улыбки, которыми она его одаривает, становятся для него великими мгновениями: в жизни и он, вероятно, помнит их все без исключения.

– Моя дорогая Диана. . .

– Ради всего святого, Перси, поставьте чашку. У вас дрожат руки. Вы стареете.

– Я задрожал бы, даже будь мне двадцать, увидев, как вы плачете. Это никак не связано с возрастом.

– Ну ладно, оставьте чашку и послушайте меня. Я оказалась в ужасном положении. . . Ну вот, теперь у вас начинают дрожать еще и колени. Надеюсь, вы не упадете замертво от внезапного испуга. Как у вас с давлением?

– О Боже, как раз на днях я проверился с головы до ног у сэра Хартли. По его мнению, я в превосходной форме.

– Тем лучше. Это поможет вам перенести шок, мой друг, приготовьтесь.

Поэт-Лауреат слегка напрягся: он никогда заранее не знал, какую стрелу она намеревается в него пустить. Так было всегда, и, поскольку он почти неотлучно находился подле нее уже лет сорок, на лице его, как результат, прочно обосновалось выражение нервного трепета. Истина же заключалась в том, что Перси любил страдать: таковы все скверные поэты. Они обожают раны, при условии, что те не будут слишком глубокими, а в случае с Перси сам факт, что их наносит очень знатная дама, создавал у него, кроме всего прочего, сладостное ощущение социального успеха. В остальном же он признавал лишь платоническую и неосуществимую любовь, и если бы она когда-нибудь предложила ему себя, он тотчас сбежал бы в Швейцарию. И тем не менее Леди Л. не находила это смешным. Мужчина, способный любить вас в течение сорока лет, не может быть посмешищем. Просто бедняга цеплялся за добродетель и непорочность с диким упорством истинно утонченных натур, которые испытывают ужас перед реальностью, считая любовь возможной только между душами, и не допускают даже и мысли, что здесь не обойтись без помощи рук и Бог знает без чего еще.

– Вы мне поможете поместить в надежное место предметы, которые». Как бы вам объяснить, дорогой Перси? Очень компрометирующие предметы, но которыми я очень дорожу. Они представляют для меня большую духовную ценность. Хотя бы раз постарайтесь понять. Я же сделаю все возможное, чтобы не слишком пугать вас. . .

– Моя дорогая Диана, я совершенно спокоен. Я никогда не видел, чтобы вы делали нечто такое, что не было бы к чести вашей репутации и знаменитой фамилии, которую вы носите.

Леди Л. украдкой взглянула на него, и легкая улыбка обозначилась на ее губах. «*Ça va être assez marrant!*»* – мелькнуло у нее в голове, и она сама удивилась, с какой легкостью вспоминаются некоторые французские выражения, которые ей доводится употреблять так редко.

*«Это будет весьма забавно» (фр.).

Они пересекли голубую гостиную: работы Тициана и Веронезе стыли здесь в музейной тишине, которую высокий потолок и внушительные размеры помещения делали особенно тягостной. Это было нечто вроде «God save the King»*, высеченное в камне и такое же тяжеловесное. Ванбру всегда строил замки так, словно хотел отвести душу, выражая свое отвращение к радости, удовольствию, легкости и свету, и Британским островам просто крепко повезло, что прожил он недостаточно долго и построил недостаточно много, чтобы потопить их в океане тяжестью своих творений. Леди Л. вела против него насколько мужественную, настолько и бесплодную борьбу, ибо напрасно ее итальянские росписи, ее Тьеполо и Фрагонары пытались придать легкость толстым стенам – Ванбру ее победил; Глендейл-Хауз продолжал оставаться предметом восхищения и гордости англичан, а его архитектура по-прежнему ставилась в пример как подтверждение традиционных добродетелей и достоинств расы. Быть может, она оставалась излишне женственной, несмотря на годы, проведенные в этой стране, а потому и не могла по достоинству оценить величие, монументальность и надежность: талант она предпочитала гениальности и требовала от искусства и людей не спасать мир, а только сделать его чуть приятнее. Ей нравились те произведения, которые можно нежно ласкать взглядом, а не те, перед которыми благоговейно склоняют голову. Гении, целиком посвящающие себя погоне за бессмертным, напоминали ей идеалистов, которые готовы разрушить мир ради его спасения. Она давно уже свела счеты с идеализмом и идеалистами, однако скрытая рана не зарубцевалась, и она до сих пор испытывала по отношению к ним чувство затаенной злобы – *un chien de sa chièppe* – одно из ее любимейших выражений, которое она так и не смогла перевести на английский. Они спустились по большим ступенькам парадной лестницы и вышли на каштановую аллею. Оставалось пройти не более восьмисот метров до павильона, утопавшего в зелени маленьких частных джунглей, которым она позволила расти как им заблагорассудится и касаться которых не имел права ни один садовник. Из множества великолепнейших садов, что ей довелось видеть за свою жизнь, этот дивный уголок был дороже всего ее сердцу. Желанными гостями были здесь сорняки, тропинки заросли колючими кустарниками: исконная сила земли свободно прорывалась здесь наружу каждое лето.

Солнце садилось, и деревья удлинялись в аллее и на изящном, всегда коротко подстриженном газоне; листва казалась еще очень зеленой, и лишь когда ее касался свет, она вдруг являла миру свою золотистую зрелость. Парк был аккуратно причесан и весьма пристойно одет. Цветочные клумбы, мастерски очерченные вокруг бассейна, кусты чайных роз, так точно названные «английской вечерней зарей», росшие на почтительном расстоянии друг от друга и источавшие приятный аромат, статуи стыдливо задрапированных в одежды Венер и Купидонов, больше наводивших на мысль о яслях, нежели об алькове, лужайка, которая, казалось, ждет своих тихих игроков в крокет, – весь этот чинный и добропорядочный мир был так хорошо ей знаком, что уже не раздражал своей благопристойной умиротворенностью. Она пересекала его ежедневно, направляясь в свои джунгли, и не обращала больше на него внимания. Тем не менее на берегу пруда она остановилась и улыбнулась двум черным лебедям, тотчас заскользившим к ней по воде среди белых кувшинок; она достала из кармана несколько кусочков хлеба, который всегда брала с собой, отправляясь на прогулку, – были также и орешки для белок, – и бросила их этим гордецам. Обе шеи грациозно изогнулись, оба клюва одновременно окунулись в воду, а затем эти чудовищные эгоисты неторопливо удалились без всяких других знаков благодарности, кроме одного – они оставляли за вами право восхищаться ими. Леди Л. нравилось царственное безразличие этих птиц: они знали, что им позволено все. Мгновение она следила за ними взглядом, затем вздохнула.

*«Боже, спаси короля» (англ.).

– Я сразу вас предупреждаю, Перси, речь пойдет о любви. Здесь я познала ее во всей полноте. Только не надо морщиться, друг мой. Я обещаю, что передам лишь минимум подробностей. . . Если почувствуете себя неловко, прервите меня не колеблясь.

Глава III

Анетта Буден родилась в тупике улицы дю Жир, за хорошо известным заведением мамыши Мушетты, где разыгрывались известные забавы, которых так упорно ищут пресыщенные жизнью души, а именно: совокупление с ослом, артишок, наездник, затычка в зад, моргунчик, Наполеон на крепостной стене, казаки в Бородино, взятие Бастилии, избиение невинных, вытаскивание гвоздя из стены и поднятие монетки со стола способом, не предусмотренным природой, – все это педантично описал Арпиц в своей «Истории буржуазного порока», великолепно документированном труде, который Леди Л. преподнесла однажды в качестве рождественского подарка французскому послу в Лондоне, ибо считала его чересчур уверенным в себе и в том, что он представлял. Первым, кто еще в детстве оказал на Анетту сильное интеллектуальное и моральное воздействие, был ее отец, старший топограф: частенько присаживаясь на край ее кровати, он объяснял своему единственному ребенку, что, помимо солнца, есть только три источника, озаряющие мир, и каждый гражданин – мужчина, женщина или ребенок – обязан научиться жить и умереть ради них: Свободы, Равенства и Братства. Поэтому она очень рано возненавидела эти слова, и не только по той причине, что они всегда долетали до ее слуха вместе с сильным запахом абсента, но и потому, что за ее отцом нередко приезжала полиция, вменявшая ему в вину тайную распечатку и распространение подрывных памфлетов, призывавших народ к свержению существующего строя, и всякий раз, когда двое фараонов приходили в их лачугу, чтобы надеть наручники на господина Будена, Анетта бежала к матери, занимавшейся во дворе стиркой, и сообщала ей:

– Свобода и Равенство опять потащили старика в участок.

Когда господин Буден не сидел ни в тюрьме, ни в кабаке, он проводил время, оплакивая интеллектуальное и моральное состояние человечества. Это был высокий, мускулистый, усатый мужчина, в хриплом голосе которого довольно часто слышались ноющие нотки и который мечтал реформировать мир, превратить все в «чистую доску» и «начать с нуля», – эти два выражения повторялись в его разговорах постоянно. Вероятно, оттого, что он предоставлял жене возможность надрываться на работе, а сам лишь толкал возвышенные речи, никогда ничего не делая, чтобы помочь ей, Анетта начала ненавидеть все, что ее отец считал чудесным, и уважать все, что он изобличал, так что впоследствии она могла сказать, что отцовское воспитание явилось одним из определяющих факторов ее жизненного успеха. Она всегда внимательно слушала мысли своего учителя и довольно рано повяла: из его наставлений можно навлечь пользу, если делать противное тому, что он говорит.

Господин Буден целыми часами объяснял ей гнусавым голосом, почему нужно убить префекта полиции, при этом у него изо рта так несло луком и винными парами, что префект полиции представлялся Анетте прекрасным принцем, о котором она нежно грезила по ночам. Голос отца она возненавидела очень рано и так же сильно, как и будивший ее иногда среди ночи голос осла Фернана, доносившийся из заведения матушки Мушетты, когда там на известных классических спектаклях собирались представители высшего света. Но отвратительнее всего ей было видеть мать, вкалывающую по четырнадцать часов в сутки ради нескольких франков, необходимых им, чтобы выжить, и вид этой преждевременно состарившейся женщины, стиравшей белье от зари до зари, пробуждал в ней ненависть к бедности, а заодно и к самим беднякам, тогда как отец, продолжавший заниматься ее воспитанием, описывал буржуазный институт брака как типичный пример капиталистического принуждения. «Брак

– это грабеж», – горланил он, сидя на кровати девочки, сверля ее круглыми, как ботиночные кнопки, глазками и шевеля своими тараканьими усами; «брак есть форма частной собственности, несовместимая со свободой человека, принуждать брачным договором женщину быть принадлежностью только одного мужчины – это феодализм». Поэтому Анетта стала мечтать о браке и частной собственности, а когда отец перешел к религии, объяснил ей несуществование Бога и сказал все, что он думает о Пресвятой Деве, она начала исправно ходить в церковь. Пока его жена надрывалась на работе, господин Буден продолжал захлеб разглагольствовать о праве женщины распоряжаться собой либо просто сидел, поглаживая бородку и пышные усы под Наполеона III, вздыхая, зажав в руке зубочистку, задумчиво глядя в пустоту, мечтая о чем-то, что в конце концов оказывалось не чем иным, как бутылкой абсента.

Мать Анетты работала прачкой с тех пор, как ее муж ушел с должности топографа, чтобы всецело отдаться делу Бакунина и Кропоткина. В большинстве заведений по улице дю Жир ей доверяли постельное белье – в тех по крайней мере, где не считалось предосудительным предоставлять белье клиентам. Доктор Левеск в своей книге о проституции утверждал, что число объятий, которым подвергается девица с улицы дю Жир в течение суток, колеблется между сорока и пятьюдесятью; это число могло доходить до ста пятидесяти в дни национальных праздников или военных парадов; особенно обильным в этом отношении было 14 июля, поскольку взятие Бастилии по-прежнему пробуждало в мужских сердцах извержения пыла и страсти. Анетта выполняла мелкие поручения проституток, слушала, как они обсуждают между собой достоинства и недостатки их сутенера, требования клиентов; все это казалось ей не чем иным, как обычными разговорами профессионалов, и вид девицы, спокойно поджидавшей клиента возле стены, казался ей гораздо менее оскорбительным, нежели вид матери, склонившейся над грязными простынями человечества.

Впрочем, Леди Л. никогда не удавалось разглядеть в сексуальном поведении людей критерий добра и зла. Она не думала, что нравственность находится на этом уровне. Изображения фаллосов, которые она видела на стенах с самого юного возраста, даже сейчас казались ей куда менее похабными, чем так называемые поля славных битв; порнография заключалась, по ее мнению, не в описании того, что люди хорошо умеют делать своими сфинктерами, а в политическом экстремизме, чьи шалости заливают землю кровью; требования, предъявляемые клиентом проститутке, были сама невинность в сравнении с садизмом полицейских режимов; бесстыдство чувств казалось мелочью рядом с бесстыдством идей, а сексуальные извращения – розовой библиотекой, если сравнить их с извращениями идейных маньяков, идущих в своей одержимости до самого конца: словом, человечество гораздо легче пятнало свою честь головой, нежели задом.

Нравственность не уживается с удовольствием. Проституток уводили в тюрьму Сен-Лазар и осматривали, а ученые мужи, пытавшиеся подменить сифилис генетическим отравлением, также передающимся по наследству, вызывали восторг поборников добродетели. Леди Л. была не очень склонна к философским размышлениям, и еще меньше – к политике, однако после первых атомных взрывов она послала в «Тайме» скандальное письмо, в котором извращения науки сравнивала с извращениями чувств и требовала, чтобы ученых Хартвела поставили на учет, регулярно подвергали медицинскому освидетельствованию, а проституция мозга, так же как и прочая, строжайшим образом регламентировалась и контролировалась. Часто она с мягкой улыбкой думала об улице дю Жир, где порок был еще не так страшен и не претендовал на то, чтобы вовлечь в кровавую бойню весь мир. Извращенцы, которые туда приходили, грезили лишь о своем собственном разрушении; находясь в нескольких минутах от прирученного небытия и даже обласканного поддельным запахом несчастных бодлеровских цветов зла, они не боялись с наступлением ночи появляться на темной улочке, где под фонарем их поджидала

смерть с платком, обернутым вокруг шеи, и с цветком в зубах, в то время как тонкоголосые рояли и аккордеоны шелестели за стенами своими грустными народными песнями и танцами. «В целом, – размышляла Леди Л., – мир такой же банальный и условный, как нежная любовь двух голубков или Поля и Вирджинии».

Итак, воспитанием Анетты занялся ее отец, и, когда ей исполнилось восемь лет, он стал заставлять ее заучивать наизусть и пересказывать избранные отрывки из «Основ анархии». Вскоре она ему декламировала призывы к социальному восстанию так же, как другие дети рассказывают басни Лафонтена. Господин Буден с удовольствием слушал, кивая иногда головой в знак одобрения и затягиваясь сигарой, едкий, противный запах которой вызывал у девочки тошноту. Мать ищачила во дворе, отец разглагольствовал о справедливости, о природном достоинстве человека, о преобразовании мира; быть может, у нее остались бы и не столь тягостные воспоминания об этих уроках, если бы он хоть раз спустился во двор и помог жене. Та умерла, когда Анетте было четырнадцать лет, и отец считал вполне естественным, что девочка должна продолжить дело матери, чем она какое-то время и занималась, но потому только, что была слишком растеряна, чтобы думать о протесте. Ни в хлебе, ни в абсенте господин Буден недостатка не испытывал и продолжал заниматься воспитанием малышки, описывая в розовых тонах будущее человечества после упразднения семьи и общества, когда индивидуум, свободный от всякого принуждения, расцветет наконец во всей своей природной красе и на земле воцарится полная гармония – гармония душ, тел и ума. Поскольку абсент делал свое дело, господин Буден в результате поднимался в своем идеализме на такие высоты, что она вынуждена была помогать ему раздеваться и укладывала его в постель, чтобы он не упал и не ушибся. Однако выпады теоретика против института семьи вскоре стали более определенными и более целенаправленными, и девочка ясно увидела, как он намеревается освободить детей и родителей от пут буржуазной нравственности и предрассудков, связывавших их по рукам и ногам. Когда это происходило, Анетта с руганью на устах выпрыгивала из кровати, хватала скалку и наносила своему родителю несколько ударов по голове, и господин Буден, с бутылкой в руке, сразу же отступал назад. Она запирала дверь на ключ и некоторое время, перед тем как уснуть, с открытыми глазами лежала в постели, мысленно представляя господина префекта полиции, Римского Папу, правительство, все то, что ненавидел ее отец и что по этой причине казалось ей особенно привлекательным. Она никогда не плакала. Слезы она считала привилегией деток богачей. Позже, когда у нее появятся деньги, она тоже сможет заплакать, а пока и думать нечего о такой роскоши. У нее не было ни малейшего желания и дальше гнуть спину у корыта, и она сама удивлялась, отчего так сопротивляется сутенерам и девицам, донимавшим ее расспросами о том, когда же начнет она – такая юная и красивая – жить настоящей жизнью. Сдерживали ее не отец и не угрызения совести, просто она имела сильную, почти сентиментальную склонность к чистоте, очевидно потому лишь, что выросла в прачечной. Она пыталась найти работу в богатых кварталах, в салонах мод, в кондитерских и кафе, но она была слишком красивой, ее донимали владельцы и, когда она отказывалась, выставляли ее за дверь. Обладая ясным и здравым французским складом ума, оставшимся у нее на всю жизнь, она вскоре поняла, что лучше начать тротуаром, чем кончить; она не знала зрелища более грустного, чем вид стареющих девиц, забившихся в самые темные углы улицы, туда, где их не может достать свет. По крайней мере можно сказать, что ее первый клиент был скорее удивлен, чем удовлетворен.

– Мне везло, – сказала Леди Л. – Я ни разу не подхватила никакой заразы.

Поэт-Лауреат вдруг как бы превратился в статую. На цветочной клумбе вокруг бассейна были и другие статуи: Диана и Аполлон, Венера и бог Пан, – и статуя Перси великолепно вписалась в эту компанию. Оцепеневший, стоял он на газоне с тростью в руке, и в его голубых

глазах был такой ужас, что на это стоило взглянуть. Словом, создавалось впечатление, что он пережил сильнейший шок. Леди Л. следила за ним краем глаза: этот милый Перси всегда втайне мечтал, чтобы его статуя, высеченная в мраморе членом Королевской Академии, стояла в каком-нибудь элегантно скверике с лавровым венком на голове. Что ж, сейчас так и было или почти так. . . Быть может, только выражение лица – ошеломленное и оскорбленное – было не совсем таким, с каким он надеялся предстать перед потомками, однако нельзя же иметь все сразу,

– Простите, что? – выдавил он наконец из себя.

– Ничего, мой друг. Я говорю, что никогда не жаловалась на здоровье.

– Во всяком случае, Диана, я не вижу связи между тем несчастным ребенком, о котором у вас возникла необходимость рассказать, и. . .

– И мной, – dokonчила Леди Л. – Разумеется, никакой связи больше нет.

Поэт-Лауреат посмотрел на нее с недоверием, но ничего не сказал.

Анетта приводила клиентов в свою квартиру, где господин Буден по-прежнему рассуждал о нетленных устремлениях человеческой души, делая вид, что не имеет понятия, откуда берутся деньги, уберегающие его от нужды. Какое-то время она его терпела, но, когда он вновь попытался претворить в жизнь свои теории о необходимости упразднения семейных уз, Анетта осыпала его бранью и вышвырнула вон, запретив появляться в доме. После этого господин Буден перестал нападать на институт семьи и призвал в свидетели небо, сетуя на неблагодарность дочери и жестокость, с какой его единственное дитя обошлось со своим родителем.

Несколько месяцев спустя тело господина Будена нашли в Сене с ножом в спине. Очевидно, он стал осведомителем и провокатором, доносившим полиции на своих друзей анархистов. Анетту вызвали в участок, где вернули кое-что из личных вещей покойного. Она мельком взглянула на лицо отца, застывшее в выражении благородного возмущения, затем повернулась к двум полицейским, которые ждали: это были ее старые друзья Свобода и Равенство. Она вытащила из сумочки три монетки по двадцать су, вручила каждому по одной, а третью бросила на стол.

– Это для Братства, – сказала она и вышла.

В тот же вечер – стоял месяц май, и в воздухе была такая нега и такая легкость, что ей хотелось петь, – к Анетте, на улицу, где она поджидала клиентов, подошел молодой апапш по прозвищу Рене-Вальс, который в квартале прослыл святым: казалось, у него не было иной цели в жизни, как доставлять удовольствие, и он положил на это все свое здоровье. Рене-Вальс страдал туберкулезом, что, однако, не мешало ему быть одним из лучших танцоров явы на улицы дю Жир. В кепке, сдвинутой набок, с цветком в зубах, он мог танцевать часами, затем присаживался на тротуар, дыша с астматическим хрипом в груди, и грустно бормотал: «Доктор говорит, что мне нельзя танцевать. Похоже, это мне вредно». Но как только аккордеон вновь подавал голос, он вскакивал, щелкал в воздухе каблуками, устремлялся к кабачку и плясал там до самого утра или до тех пор, пока, охваченный необычайно яростным приступом кашля, не застывал на месте в самый разгар танца,

Видя его, Анетта всегда радостно улыбалась: он был птицей. В двадцать пять лет он улетел навсегда, и звук аккордеона после этого уже никогда не был таким, как прежде. Итак, в этот вечер к ней в крайнем возбуждении подбежал Рене-Вальс, однако вовсе не танцевальный мотив взбудоражил его.

– Пойдем, Анетта. Тебя хочет видеть месье Лекер.

Анетта поднесла руку к груди и, постояв секунду с закрытыми глазами, бросилась к Рене-Вальсу и расцеловала его в обе щеки: она всегда знала, что судьба когда-нибудь улыбнется

ей. Это, конечно, был не префект полиции, и не Римский Папа, и не правительство, но вызывавший ее к себе человек занимал в свое время довольно видное положение в обществе.

Альфонс Лекер и в самом деле находился тогда в зените славы. Тот, кого комиссар Маньен впоследствии окрестил в своих «Мемуарах» «самой законченной канальей Парижа», начал карьеру как сутенер на площади Бастилии, но постепенно расширил сферу своей деятельности: комиссар Маньен считал, что в какой-то момент своей карьеры он практически монополизировал торговлю морфием в Париже и что к 1885 году число работавших на него женщин могло доходить до пятисот. Сумей он ограничить свои амбиции и довольствоваться ролью короля преступного мира, он, возможно, умер бы богатым и почитаемым. Он проматывал целые состояния за игрой в самых изысканных кругах Парижа, устраивал пышные приемы в своем особняке в квартале Марэ, содержал конюшню скаковых лошадей и большое количество боксеров, в том числе знаменитого Аргутена, пославшего в нокаут Джека Сильвера в 1887 году; за его поединками он наблюдал вместе со своими гостями – английскими лордами и молодыми львами из парижского бомонда, – которые не гнушались компанией никакого мошенника, если только у того был свой стиль и если он умел тратить деньги. В полиции к нему относились с величайшей осторожностью, ибо знали, что он способен шантажировать кое-кого из высокопоставленных лиц Третьей Республики, которая тогда получала боевое крещение и только начинала приобретать опыт в коррупции, обеспечившей ей такую долгую жизнь. Маньен решительно заявил, что в своем восхождении от сточной канавы на площади Бастилии до высших парижских слоев Лекер избавился по меньшей мере от дюжины соперников, – и все это благодаря искусному владению ножом, который он продолжал носить под лапами своего английского сюртука. Он был гигантского роста, с плечами почти такими же широкими, как у статуи зуава* с моста Альма; массивная голова возвышалась над туловищем этого колосса. У него были щеки кирпичного цвета, густые брови, параллельные пышным черным навощенным усам, которые перечеркивали лицо; глаза странно блестели, взгляд был неподвижен: радужная оболочка и зрачки переливались в каком-то мрачном мерцании. Его часто видели проезжавшим по Бульварам в своей двухместной карете, в эксцентричных спортивных костюмах, имитировавших последний крик британской моды: пиджак в черно-коричневую клетку, жилет из темно-красной парчи, украшенный золотой цепью, галстук с бриллиантом, на пальце – рубин, сдвинутый набок каштановый котелок, руки, скрещенные на трости с золотым набалдашником, во рту – сигара, угрюмый, застывший; затуманенный взгляд. Его всегда сопровождал его неразлучный спутник, бывший ирландский жокей, казавшийся рядом с Лекером еще большим коротышкой, известный прежде под именем Саппер, которое воровской мир Парижа превратил в более фамильярное, хотя и более длинное прозвище – Сапперлипопет. У него было вытянутое грустное лицо с бледно-голубыми глазами, с которого никогда не сходило странное выражение упрека и сожаления. Голова его была постоянно скошена набок, и он не мог шевельнуть ею, не повернув при этом всей верхней части туловища. Когда-то он был одним из известнейших жокеев в Англии, однако свернул себе шею в Париже на скачках за Большой приз Булонского леса. Очевидно, Альфонс Лекер и принял его впоследствии в свой круг потому, что его все более обострявшаяся мания величия нуждалась в общении с коротышкой-жокеем со свернутой шеей, который еще больше подчеркивал и без того внушительный рост апаша.

Таковы были двое мужчин, которые молча разглядывали сейчас Анетту в свете фонаря на улице дю Жир, один – с мрачным видом затягиваясь сигарой, другой – склонив набок голову, будто грустная любопытная птица, в то время как Рене-Вальс почтительно ждал в

*Зуав – солдат корпуса французской пехоты, созданного в Алжире в 1831 году.

тени и мял в руках кепку. Лишь значительно позже Анетте стали известны мотивы, побудившие Альфонса Лекера заинтересоваться ею. Профессионалы давно обратили внимание на ее необыкновенную красоту и природное изящество, однако для осуществления плана, о котором думал Альфонс Лекер, одной красоты было недостаточно. Здесь нужны были живой ум, способность быстро обучаться и все запоминать, честолюбие и смелость. Дело в том, что карьера Альфонса Лекера внезапно приняла насколько странный, настолько и неожиданный оборот. Его обуяла жажда власти, насытить которую не могло ничто, ибо его успехи лишь усугубляли ее. Десять лет господства над воровским миром, страх, который он всем внушал, его связи в полиции и подхалимство всех тех, кто жил за его счет, вскружили ему голову: он возомнил, что стоит выше большинства смертных, что рожден был для свершения великих дел, одним словом, сверхчеловек, не сумевший найти своим способностям надлежащее применение. Он не был умен, ибо не прочитал за всю жизнь ни одной книги, и охотно прислушивался к некоторым голосам, предлагавшим уже готовое идеологическое оправдание его преступной карьере и подтверждавшим, что в действительности он – идеалист, который сам себя не знает. Для него, конечно, не было открытием, что он – великий человек, но он так никогда и не понял, что вся его преступная карьера была лишь долгим и бурным протестом против существующего порядка; он не знал, что он – анархист, реформатор, и, бывало, с невозмутимым лицом, с сигарой во рту, часами слушал чарующий голос, который с необычайной силой убеждения объяснял, в чем состоит смысл его жизни, – эту оду ненависти и силе, разрушению и искуплению; если он поставил себя вне закона, молвил голос, то это из-за ненависти ко всякому организованному обществу, к любому социальному принуждению; если он выбрал преступления, то лишь затем, чтобы угнетающей народными массами буржуазии отплатить той же монетой, ибо это – единственно приемлемая для него форма протеста.

Свидетели эпохи – все, как один, – признают, что голос Армана Дени действительно обладал некоей магической властью. Вот что сказал об этом чемпион по шахматам Гуревич, в юности примкнувший к анархистскому движению, в своих «Воспоминаниях шахматной доски»: «Его глубокий, мужественный голос в гораздо большей степени подкупал своей как бы физической притягательностью, нежели вескостью аргументов. С ним хотелось соглашаться. Прибавьте к этому исключительную внешность, которая соответствовала общепринятому представлению о маршалах Наполеона: густая вьющаяся шевелюра с рыжеватыми отблесками, темные неистовые глаза, прямой лоб, слегка приплюснутый кошачий нос; ото всей его фигуры исходила такая животная сила, такая уверенность, что его влияние на тех, кто с ним соприкасался, казалось неким проявлением природных сил: это был дар, примеров которому XX век знавал – уву! – множество. Однажды я слышал, как Кропоткин сказал по его поводу после встречи с ним в Лондоне: “Он экстремист души, и я не знаю, ставит он страсть на службу нашим идеям или наши идеи приносит на алтарь страсти”».

Арман Дени был сыном богатого торговца бельем из Руана. Он был набожным и глубоко мистическим подростком – очевидно, по контрасту с семейным окружением, где главная роль отводилась деньгам, – и выбрал учебу в колледже иезуитов в Лизье, где произвел неизгладимое впечатление на воспитателей своим пониманием христианства, блестящим умом и удивительными ораторскими способностями. Его послали в Парижскую Семинарию, и там вера оставила его или, точнее, приняла такую же крайнюю, но противоположную форму. Впоследствии в своей книге «Мятежный возраст» он писал, что бедные парижские кварталы, жалкое зрелище нищеты и несправедливости при полном безразличии захватившей власть буржуазии в гораздо большей степени, нежели чтение, заставили его резко переменить веру и вселили в него эту дикую решимость, не дожидаясь Страшного Суда, отомстить за обиженных. Он стал служить человечеству с тем же безжалостным пылом, с каким инквизиторы

служили Богу. «Он был из тех влюбленных в абсолют людей, – сказал Гуревич, – чьи потребности находятся в противоречии с самим феноменом жизни. Они искренне возмущены нравственными, интеллектуальными, историческими и даже биологическими ограничениями человеческого существования. Но их бунт может вылиться лишь в очень красивую песнь, их философия на самом деле – поэтика, и к ним с успехом можно было бы отнести знаменитую фразу Горького о “лирических клоунах, выступающих со своими номерами на арене капиталистического цирка”. Их диалектический экстремизм нередко приводит к абсурду, и в связи с этим я могу привести в пример один довольно типичный инцидент. Арман Дени – я сам имея возможность в этом убедиться – был замечательным шахматистом, но однажды он при мне осудил эту игру за ее “нецелесообразность” и даже сказал, что шахматы, вероятно, изобрели халдейские священники, чтобы направить силу логического мышления народа на абстрактные игры и таким образом отвлечь его от реальности и действительности, опасной для существующей власти».

Он порвал с католической церковью весьма театрально и с таким неистовством, каким были отмечены все перипетии его великой карьеры анархиста.

Однажды в воскресенье, когда толпа верующих ждала преподобного отца Арделя, на чьи проповеди сбегался тогда весь высший свет Парижа, молодой человек с красивым мужественным лицом, в котором было нечто сумрачное и ясное одновременно, поднялся на кафедру и какое-то время стоял, наклонившись вперед, неподвижный, как насторожившийся зверь, а присутствующие, сразу поработанные этим появлением, в тишине, какая бывает в великие моменты откровения, стали ждать некоего чудесного всплеска церковного красноречия. Легко представить их изумление, когда раскрылись руки и молодой человек стал размахивать в воздухе крысой, держа ее за хвост.

– Смотрите, Бог умер! – воскликнул он голосом, горячность которого затмевала богохульство и наполняла чувством страстной веры. – Бог умер! Вставайте, люди доброй воли, восстаньте из тьмы, вперед, навстречу земной лучезарной судьбе, к царству разума и братства!

Среднегодовой доход каждого из собравшихся там «людей доброй воли» равнялся пяти миллионам обеспечиваемых золотом франков. «Богохульник, – писала «Журналь де Деба», – был жестоко избит толпой, а затем арестован полицией».

Арман Дени провел несколько месяцев в лечебнице Святой Анны, ибо никто не сомневался, что его поступок, поднявший такой шум, мог быть продиктован только помутившимся рассудком. Свое пребывание в приюте он использовал для разработки теории, которую некоторые ученики Фрейда приписали впоследствии себе: он объяснял большую часть психических заболеваний ограничениями, которым подвергается «человеческая личность», и чудовищным контрастом между естественными устремлениями человека и преградами, которые воздвигало общество на его пути. Еще дальше в этом направлении пошел Кропоткин: основываясь на выводах некоторых естествоиспытателей того времени, он утверждал, что дикие животные по своей природе не агрессивны и что все дело в наклонностях, приобретенных вследствие голода и навязываемой им борьбы за существование.

Впервые его имя встречается в полицейских архивах в 1884 году с довольно комичной, когда думаешь о серии совершенных им покушений, пометкой: «Держать под наблюдением». В то время он жил в парижских трущобах, разделяя компанию с неким Кенигштейном, ныне более известным под именем Равашоль, а также Декампом и Дардаром, будущими организаторами взрыва в здании, где жил советник Бенуа, председательствовавший на первом во Франции процессе, возбужденном против анархистов семью годами позже, после манифестации в Клиши. В преступниках Арман Дени видел жертв и противников общества, а следовательно, своих союзников. Преступные наклонности являлись, на его взгляд, результатом социального

угнетения и эксплуатации, а преступников, по его меткому выражению, которое позже вошло в обиход, он считал «левшами идеализма». Человек незаурядного ума, склонный к демагогии и хитрости, что он оправдывал важностью поставленной цели, он, вероятно, и сам не очень-то верил своим словам, когда в домах терпимости объяснял ошеломленным апашам, что они – мятежники, для которых преступление – всего лишь способ протеста против общественного устройства, основанного на несправедливости и эксплуатации. Это льстило их самолюбию, голос Армана так их завораживал, что они всегда соглашались, не понимая ни слова из того, что он говорил; проститутки заливались горячими слезами, когда этот славный малый, от чьей смазливой физиономии они впадали в мечтательное состояние, уверял, что они – его соратницы в борьбе и жертвы общества, в котором, по его выражению, «деньги решают все, армия убивает своих, религия благословляет убийц, а полиция обмывает трупы». Его красноречие обладало такой силой убеждения, что юные шалопаи уходили из кабака, преисполненные решимости превзойти себя в своих злодеяниях; они понимающе переглядывались, покачивали головами, говорили «он прав», хотя вряд ли смогли бы повторить то, что он им сказал. Комиссар Маньен утверждает, что кампания, развернутая Арманом Дени в парижских трущобах, так резко увеличила преступность в столице, что полиция оказалась в полной растерянности; молодой анархист действительно обладал тем даром лидера, который сделал бы его поистине ведущей политической фигурой в XX веке. Леди Л. всегда считала, что Арман слишком рано родился.

Один человек особенно внимательно прислушивался к его словам, часами не сводя с него мечтательного взгляда своих темных глаз. Этим человеком был Альфонс Лекер. Его мания величия, все больше усиливавшаяся по причине одной хорошо известной болезни, черпала уверенность в речах юного анархиста, несших оправдание и похвалу, – именно то, чего он и домогался. Каждое слово имело вес, каждая фраза била в цель; слушая этот голос, внешне невозмутимый апаш, с седеющей сигарой во рту, поигрывавший цепочкой часов, уже видел себя стоящим на украшенных черными знаменами трибунах перед встречающими его овацией толпами. Да, да, он и вправду заклятый враг общества, человек, избранный самой судьбой для того, чтобы быть предметом обожания благодарных масс; если он стал сутенером, убийцей, шантажистом и, в довершение всего, королем преступного мира, то исключительно для того, чтобы ускорить процесс загнивания уже давно готовых обвалиться балок существующего строя. Он ненавидел богачей, угнетающих народ, этот народ, из которого вышел и он сам.

Жокей сидел рядом – продолговатое грустное лицо под клетчатой кепкой, слегка скошенная набок голова на изогнутой шее – и смотрел на своего спутника голубыми под бровями Пьеро глазами.

Решающая встреча между Арманом Дени и Лекером состоялась в игорном клубе, который содержала Некая баронесса де Шамис, ночью, после нападения на банк «Жюльен», что на улице Итальянцев; кассир учреждения был серьезно ранен, однако смог точно описать приметы преступников, и таким образом была установлена безусловная причастность к делу Армана Дени. Баронесса, вкрадчивое создание с таким напудренным лицом, что оно казалось гипсовым, с черепаховым лорнетом перед кротовыми глазками, ввела Армана в крохотную гостиную за игровым залом, где к нему вскоре присоединился Лекер, еще державший стопку наполеондоров в руке. Арман Дени знал, что, если ему не удастся заручиться поддержкой этого человека, его неминуемо арестуют. Он никогда не мог пройти незамеченным. Те, кто хоть раз видел его лицо, уже не могли его забыть, и в течение всей карьеры красота молодого революционера была для него настоящим бедствием. Впрочем, влияние, которое оказывал Арман на апаша, пытались объяснить и некой скрытой гомосексуальной склонностью последнего. Было очевидно, что самый опасный человек Парижа, плативший полиции и шантажировав-

ший членов правительства, становился беспомощным, как только оказывался рядом с автором «Мятежного возраста», и ничем – ни его чудовищным самолюбием, ни стремлением к власти, ни даже его глупостью – невозможно было до конца объяснить, почему он так жадно искал общества Дени. И вот он стоял здесь, в гостиной с желтой обивкой стен, позвякивая наполеондорами, устремив на своего искусителя почти галлюцинирующий взгляд. Возможно, он и вправду на него скорее смотрел, чем слушал, и был более восприимчив к его голосу, нежели к тому, что тот говорил.

«Пора принимать решение. Ты должен сказать мне, чего ты хочешь: до конца своих дней оставаться тем, кто ты есть сейчас, или же пойти гораздо дальше, подняться выше, открыть миру свою подлинную сущность. Никто не знает, кто ты есть на самом деле; твоё сопротивление власти никем не понято. В глазах всех ты только каналья, вонючая и опасная скотина, которую следует пощадить, не более. В последний раз я задаю тебе вопрос: хочешь ли ты достичь подлинного величия? Занять свое место в истории, среди самых именитых? Желает ли ты, чтобы твое имя жило вечно? Чтобы угнетенные массы повернулись к тебе и восторженно приветствовали твое имя и чтобы этот гул перерос в победную песнь, отголоски которой в новом и свободном мире не смолкнут никогда?»

Лекер, с наполеондорами в руке, неподвижно стоял в гостиной с желтыми стенами; кровь хлынула ему в лицо, высокомерное выражение на котором усилилось до такой степени, что во взгляде появился блеск какой-то всепожирающей страсти. «Бедный Альфонс, – подумала Леди Л., – он тоже родился слишком рано. Ему следовало бы жить в эпоху Шлагетеров, Хорстов Весселов, Рудольфов Гессе, великих маршей через Европу коричневых и черных рубашек, Гитлеров и Муссолини». Ведь не кто иной, как будущий диктатор Италии, перевел «Записки революционера» Кропоткина в начале своей карьеры, и он же провозгласил, что книга князя-анархиста написана «с большой любовью к угнетенному человечеству и проникнута безграничной добротой».

В Альфонсе Лекере, несомненно, была та смесь гомосексуальности и любви к грубой силе, которая всегда давала фашизму самых прекрасных рекрутов. Но быть может, он и вправду смутно и безотчетно грезил о том, как найти оправдание своим преступлениям и придать смысл своему деструктивному существованию. Во всяком случае, очевидно, что он искал общества Армана Дени и становился угрюмым и раздражительным, когда ему не удавалось увидеть его в течение нескольких дней. Однако тем вечером в заведении баронессы Шамис он выслушал воинственную песню искусителя, ничего не сказав, и, когда тот наконец умолк, Лекер какое-то мгновение еще смотрел на него, затем, звякнув в руке наполеондорами, развернулся на каблуках и возвратился в игровой зал. Арман Дени выиграл партию, хотя так никогда, наверное, и не понял всей сложности мотивов, позволивших ему добиться такой полноты власти над бывшим апашем. Вскоре высокую и широкоплечую фигуру Альфонса Лекера, одетого по последней моде, можно было видеть на «воспитательных» собраниях на одном из парижских чердаков; во рту – сигара, на пальце – рубин, всегда в сопровождении жокея с кривой шеей, он слушал коротышку-препаратора из аптеки, со слащавой улыбкой объяснявшего ему, как в домашних условиях сделать бомбы из простейших материалов, которые можно купить в аптеке за углом.

Члены этой первой анархистской ячейки составляли странную и разношерстную группу: шарманщик, всегда приходивший на собрания со своей обезьянкой; господин Пупа, чиновник-каллиграф из Министерства иностранных дел, всю жизнь выписывавший своим красивым почерком дипломатические паспорта; Виолетта Салес, преподававшая литературу в коллеже и писавшая занимательные статьи в газету «Папаша Пенар» под псевдонимом Адриан Дюран; испанец Иррудин, которого впоследствии сделала знаменитым книга Кристофа Салеса.

Альфонс Лекер рассеянно поглядывал на них, сосредоточив все внимание на Армане Дени, не сводя с него глаз, зрачки и радужные оболочки которых сливались в одну неподвижную черноту. Жокей стоял рядом, все так же склонив голову набок, что делало его похожим на кого-то, кто наблюдает за вещами и людьми критическим взором. Однажды Альфонс Лекер, решивший получить свое первое боевое крещение в качестве оратора, показал пальцем на Саппера и воскликнул хриплым голосом:

– Посмотрите на этого типа! Он сломал себе шею на службе у английского милорда, который тут же его бросил как очокурившегося пса. Мы за него отомстим!

25 мая 1885 года в почетную трибуну ипподрома в Булонском лесу была брошена бомба; трое довольно серьезно раненных владельцев лошадей и один венгерский тренер были подобраны в куче серых цилиндров. Никто не обратил внимания на человечка с грустным лицом, который спокойно вышел из охваченной паникой толпы, поднял один из цилиндров и со своим трофеем удалился. Некоторое время спустя в канареечно-желтом фазтоне, увозившем их в город, Альфонс Лекер, сидевший рядом с Арманом напротив жокея, на коленях у которого лежала роскошная шляпа, вынул изо рта сигару и с упреком сказал своему маленькому попутчику:

– Ты все-таки мог бы подождать еще минуту: моя лошадь выигрывала.

В те времена никто еще не подозревал владельца лучших публичных домов Парижа в связях с анархистскими кругами, и его долго не беспокоили. В полиции Лекера считали своим человеком – ведь он был частицей существующего строя. Трудно приписывать подрывные намерения преступнику, находящемуся на гребне славы и пользующемуся мощной поддержкой наверху социальной пирамиды. Как-то не укладывалось в голове, что он может выступать против общества, из которого извлекал такую выгоду. Однако его тщеславие и мания величия все с большей силой побуждали его идти вперед. Хотя он еще и не хвастался открыто своей деятельностью, слегка завуалированные намеки, бессвязные политические рассуждения, в которые он пускался на людях и за которыми нетрудно было угадать влияние ума более тонкого, чем его ум, очень скоро привлекли к себе внимание. Друзья из высших сфер просили его быть начеку; сенаторы, министры, которым он помогал удовлетворять пороки, и полицейские, которым он платил, без усталости его предупреждали, но он был слишком уверен в своей власти над ними и отвергал все их советы пожатием могучих плеч. Он принялся называть имена, изобличать подонков. Вскоре для его защитников стало невозможным продолжать покрывать его. Арман Дени, хорошо видевший опасность, тщетно пытался успокоить своего странного ученика, чья помощь могла быть ему по-настоящему полезной лишь до тех пор, пока тот оставался вне подозрений. В это время он находился в ссоре с анархистским Интернационалом, в частности с его французским отделением, которое отказалось включить его в состав делегации, отправившейся на съезд в Лондон в 1881 году. Он только что опубликовал резкий памфлет на русского – Кропоткина, очень популярного в то время; князь-анархист действительно отверг его учение о «воспитательной химии», согласно которому в сложившейся обстановке следовало действовать как можно быстрее и уделять больше внимания «технической» стороне дела, то есть искусству изготовления бомб, нежели изучению анархистской доктрины, собственно говоря. Кропоткин возражал также против привлечения школьников для бросания «петард» и называл «патологической» идею слепых покушений на улицах, целью которых было посеять панику среди населения и создать впечатление, что «друзья народа» более многочисленны и могущественны, чем это было в действительности. Арман Дени в свою очередь обвинил Кропоткина в «буржуазной сентиментальности». «Бомбы и еще раз бомбы», – провозглашал он. Неспособность правительства предотвращать покушения должна стать очевидной для общественности. Единственной частью учения Кропоткина, которую он принимал без всяких

оговорок, было его знаменитое отрицание теории Дарвина о выживании наиболее приспособленных. Русский бравировал своим выводом о том, что различные виды животных, до того как их начал преследовать человек, вовсе не боролись между собой, а, напротив, жили мирно и в случае необходимости даже помогали друг другу. Это любопытное возрождение мифа о потерянном рае в том оперении, в каком представили его анархисты, всегда казалось Леди Л. трогательным. Радость князя Кропоткина, когда после нескольких месяцев серьезных исследований в Британском музее он решил, что может наконец заявить миру о своей теории «естественного братства», была ничуть не меньшей, чем веселье, еще и сегодня охватывающее Леди Л. при чтении его труда. Этот добряк Кропоткин был до невозможности сентиментален.

Бомба, брошенная в «Кафе Тортони», наделала больше шума, чем разрушений, но та, что взорвалась во время прохода республиканских гвардейцев в нескольких метрах от Елисейского дворца, убила пять человек и взбудоражила весь Париж. Полиция произвела облавы в городских трущобах, и преступный мир почувствовал угрозу. Положение Лекера, хотя он и отказывался это признать, стало шатким. Пока он оставался обычным уголовником, полиция могла закрывать глаза и терпеть его, поскольку он нормально вписывался в существующий порядок вещей, однако теперь, когда его деятельность начала инспирироваться подрывной политической догмой, он становился врагом общества. И вот на одном из совещаний в Министерстве внутренних дел, где ничего не было сказано, но где все понимали друг друга без слов, при всеобщем смущении было наконец решено арестовать Лекера. Один из его могущественнейших покровителей, которого немедленно поставили в известность, послал своему шантажисту последнее предупреждение, предлагая ему немедленно покинуть страну. Но даже после этого Альфонс Лекер не перестал ходить в модные кафе с жокеем и щеголять своим желтым экипажем в Булонском лесу. И только Арману Дени удалось уговорить его уехать в Швейцарию.

Основатель «Папаши Пенара» порвал с Кропоткиным, чью сентиментальность, шарахания и увертки он не мог больше переносить. Было решено создать независимое движение, полностью ориентированное на борьбу, руководимое из-за границы, откуда во всех направлениях будут рассылаться боевые группы. Но для осуществления этих честолюбивых замыслов требовались практически неограниченные суммы. В результате ряда ограблений и нападений на банки приверженцы «перманентной революции» получили средства, необходимые для того, чтобы организовать и начать действовать. Предполагалось уехать в Швейцарию, довести до конца «сбор» денег и укрыться затем в Италии, где братья Маротти уже создали боевую подпольную организацию, самой выдающейся жертвой которой вскоре стал король Умберто. В то время Швейцария стала убежищем для анархистов, приезжавших туда со всех уголков Европы. Вплоть до убийства королевы Елизаветы Австрийской в 1902 году они там пользовались абсолютной свободой, спорили, собирались в кафе и ресторанах, издавались и подышали с голоду; соратник Вязевского, Стоиков, отмечает в своей книге «Попутчики», что за один месяц он проглотил в виде пищи тридцать копченых селедочек, пять килограммов хлеба и сто пятьдесят чашек кофе, и это в то время, пишет он, «когда богачи наслаждаются вокруг меня ничегонеделаньем и в сейфах у буржуа на берегах безмятежных голубых озер истлевают колоссальные состояния». Такую позицию Арман считал типичной для Кропоткина и его друзей; позволять «колоссальным состояниям» мирно почивать, тогда как сам обречен на «копченую селедку» и бездеятельность по причине отсутствия денег, представлялось ему верхом бессилия и глупости. Сокровища, накопленные в особняках на берегу Женевского озера, банки, охрана которых сладко посапывала в обстановке никем не нарушаемого благоденствия, – все это он считал идеальным полем деятельности. Но для успешного осуществления подобного плана ему нужны были сообщники внутри этого блистательного закрытого мирка, а таковыми

он не располагал. Ему нужен был некто, кто внедрился бы в этот живой «Готский Альманах», наслаждающийся созерцанием вечных снегов, и снабжал бы их надежной и точной информацией, сообщая маршруты, распорядок дня, привычки немецких, австрийских, русских тиранов, которые в Швейцарии не ощущали никакой угрозы лишь потому, что знали: чем дальше от народа, тем безопаснее. Итак, ему нужен был сообщник, влиятельный, стоящий вне подозрений, послушный, надежный и легкоуправляемый человек. Он довольно быстро решил, что наилучшей картой в этой тонкой игре должна стать женщина – молодая, красивая, способная вскружить голову, – которая могла бы не только возбуждать интерес пресыщенных жизнью скептиков, но и как можно дольше поддерживать его, что было под силу лишь профессионалке, привыкшей удовлетворять все требования клиентов, но обладающей достаточно сильным характером, чтобы привнести в эти игры холодную голову и крепко закаленную волю. Сказать об Армане Дени, что он не колебался в выборе средств, значило бы ничего не сказать. По меткому замечанию Дюрбаха, «экстремист воспламеняется, прибегая к низким средствам, он находит в этом своего рода доказательство обоснованности своих убеждений; кровь проливают не только потому, что того требует дело, ее проливают также и затем, чтобы доказать величие дела; в жестокости и гнусности средств, к которым он прибегает не колеблясь, он видит доказательство кровью важности и священного характера преследуемой цели*». Вот при каких обстоятельствах Анетту вызвали вначале к Альфонсу Лекеру, а затем, без всяких объяснений, отвели в дом терпимости у Центрального рынка, на улице де Фюрсей, где ее жизнь изменилась коренным и чудесным образом.

– Мне в самом деле крупно повезло, – сказала Леди Л. – Если бы не анархисты, я бы наверняка кончила плохо. Им я обязана всем.

Она повернулась к Поэту-Лауреату, который только что издал нечто вроде приглушенного хрипа. Он приставил к правому глазу монокль и смотрел на Леди Л. с выражением недоверия, ужаса и возмущения одновременно.

– Полноте, полноте, голубчик, – сказала она. – Не доводите себя до такого состояния. Вы выглядите точь-в-точь как Бонбон, мой белый щенок, когда у бедняжки случился сердечный приступ. Успокойтесь, Перси, это было так давно. . . . шестьдесят три года назад! Знаете, время все сглаживает. Впрочем, все это случилось за границей и потому не должно вызывать в ваших таких английских глазах никакого удивления.

Впервые за свою долгую и почетную карьеру скромного и сдержанного человека сэра Перси Родинер позволил себе взорваться.

– Тысяча чертей! – взревел он. – Проклятие, вот единственное, что я могу вам сказать! Не верю ни единому вашему слову! Я. . . вы. . .

– Вот это уже лучше, – сказала Леди Л. – Вам следовало бы чаще злиться, Перси. Так вас хотя бы замечают. Иногда кажется, что безликость вы сделали смыслом всей своей жизни. И кстати, вполне в этом преуспели.

– О Боже, Диана, решительно, вы переходите границы! Вы всегда любили ошеломлять людей. Арнольд Бенет был прав, когда говорил, что, подобно всем истинным аристократам, вы обладаете террористическим темпераментом и таким чувством юмора, которое порой производит эффект взорвавшейся бомбы. . .

Вдруг он умолк и посмотрел на нее, забыв закрыть рот: было очевидно, что отголоски только что сказанного им эхом отдаются у него в ушах.

– Продолжайте, продолжайте, – тихо произнесла Леди Л. – То, на что вы намекнули, очень, очень любопытно. . .

* Дюрбах. «Доказательство кровью». – Фрибург, 1937. (Примеч. автора.)

Сэр Перси что-то судорожно сглотнул – возможно, свои мысли.

– На этот раз, Диана, вы действительно переходите границы. Да еще в день своего рождения, когда Ее Величество прислала вам такую трогательную телеграмму с поздравлениями! Вы носите одну из величайших фамилий этой страны, ваша жизнь – раскрытая книга, где весь мир может прочесть восхитительную историю изящества, красоты и достоинства, и вдруг – какие-то загадки... претензии... недомолвки...

У сэра Перси Родинера был теперь такой подавленный и возмущенный вид, что Леди Л., чтобы его приободрить, инстинктивно вставила фразу, которую она произнесла в аналогичных обстоятельствах когда японцы потопили гордость империи – «Prince of Wales» и «Repulse»* – у берегов Сингапура.

– Успокойтесь, друг мой. Англия, во всяком случае, останется у нас!

– Я бы просил вас держать Англию подальше от всего этого, – проворчал Поэт-Лауреат. – Предупреждаю, вы напрасно пытаетесь заставить меня поверить в некоторые совершенно не характерные для вас вещи. Конечно, шокировать – это одна из ваших привилегий. Однако достаточно взять «Книгу пэрства» Бэрка... взглянуть на портреты ваших предков... Вы родились Дианой де Буаэеринье, вы сочетались первым браком с графом де Камознсом, один из ваших предков участвовал в сражении под Креси...

– Все эти подделки доставили мне немало хлопот, – сказала Леди Л. – Месье Пупа, чиновник-каллиграф, отлично выполнил работу. Особенно убедительны документы, касающиеся Креси. Пришлось использовать несколько видов кислот, чтобы склонить их к старению. Знаете, Арман никогда ничего не делал наполовину. Все идеалисты, снедаемые своими химерами, обладают почти безнадежной склонностью к реалистическим деталям. Они испытывают удовлетворение от возможности влиять таким образом на действительность. Что касается семейных портретов, я скажу вам об этом два-три слова чуть позже. Это было очень забавно. Впрочем, как только мы очутимся в павильоне, вы собственными глазами увидите, что я ничего не придумываю. Пойдемте. Полагаю, рюмка коньяку вам не помешает.

Поэт-Лауреат взял свой носовой платок и вытер пот со лба.

Заходящее солнце висело на ветвях каштана, как созревший плод, и свет окутывал Леди Л. своей снисходительной улыбкой. Воздух благоухал сиренью: последняя сирень лета и, быть может, ее жизни. Однако не стоит думать о смерти: это слишком грустно. Со стороны лужайки доносились смех и радостные крики – это дети начали партию в крокет.

*«Принц Уэльский» и «Отпор» (англ.).

Глава IV

Заведение на улице де Фюрсей представляло собой третьеразрядный дом, где свидание с проституткой стоило один франк плюс десять су за мыло и полотенце. Выбирать можно было из трех девиц; клиентура состояла в основном из грузчиков Центрального рынка, но в поисках отдельных, дающих отдохновение гнусностей сюда весьма охотно заходили и представители социальной элиты общества. На одной из девиц были панталоны с черными кружевами, доходившие до колен, и такой же черный корсет, приоткрывавший ее мощную грудь; две другие жертвы общества были прикрыты желто-зелено-оранжевым тюлем, но не полностью: все это заканчивалось на уровне пупка, что придавало всему ансамблю довольно любопытный лилово-черный оттенок. С белыми лицами, посыпанными дешевой пудрой, крупинки которой подчеркивали каждую неровность кожи, они с глупым видом пялились на господина во фраке, сидевшего за роялем. Возле музыканта, с револьвером в руке и тоже во фраке, стоял мужчина. Он бегло взглянул на Анетту и, рассеянно улынувшись, вновь повернулся к пианисту.

Вот так Анетта оказалась на месте происшествия и стала очевидицей одного из любопытнейших подвигов – таких привычных для Армана Дени, – благодаря которым только и удалось воспалить воображение и завоевать симпатии молодежи, не знавшей ни как изменить мир, ни куда бежать от скуки, охватившей буржуазию – обрюзгшую, безразличную, по-бычьей самодовольную, – от которой уже начинало пахнуть бойней. Ведь сидевший за роялем виртуоз во фраке был не кто иной, как величайший пианист своего времени Антон Краевский.

На следующий день газеты с возмущением писали о похищении. Накануне вечером виртуоз выступал перед восторженным парижским бомондом, заплатившим целое состояние за привилегию присутствовать на его сольном концерте. Когда пианист покинул зал через потайную дверь, чтобы не попасть в объятия к своим поклонникам, на улице к нему подошел мужчина во фраке. Вежливо поздоровавшись, незнакомец приставил к груди пианиста дуло пистолета, который он прикрывал шелковым котелком, увлек его к стоявшей поодаль карете и повез в один из самых гнусных борделей Парижа, где заставил играть для остолбеневших проституток. Краевский играл уже больше часа, когда появилась Анетта. Впоследствии в своих мемуарах* он рассказывал, как ему пришлось показать в тот вечер все лучшее, на что он был способен, ибо молодой анархист оказался тонким знатоком музыки, и всякий раз, когда виртуоз немного расслаблялся, Арман Дени строго ему выговаривал:

– Ну, ну, маэстро! Вы способны на большее. Я, конечно, знаю, что вы полностью выкладываетесь лишь перед теми, кто вам хорошо платит за ваше проституирование, но если присутствующие здесь дамы, возможно, и не являются элитой в вашем понимании, они все же стоят неизмеримо больше, чем та тухлятина, что заполняет обычно ваши залы. Поэтому я предлагаю вам показать им все лучшее, на что вы способны, в порядке простой компенсации.

Он навел на пианиста пистолет.

– Играйте, маэстро, играйте! Впервые за свою карьеру вы выступаете наконец перед пристойной публикой. Вы прожили жизнь» предлагая себя рвачам и палачам, так предложите же себя хоть раз жертвам и эксплуатируемым. Ну, постарайтесь!

В своем труде Антон Краевский утверждает, что его возмущение полностью рассеялось, когда он услышал этот обволакивающий голос, который пытался скрыть глубокомысленные

* Антон Краевский. «Моя жизнь в искусстве». – Лондон, 1892. (Примеч. автора.)

и серьезные нотки под иронией, но в котором ощущалась и почти неистовая, непримиримая жажда абсолютной социальной справедливости. В его лице, в его голосе, в его напряженной отстраненной неподвижности и особенно в этой немного звериной маске под шевелюрой с рыжеватыми отблесками, с глазами, бросающими вызов и вызывающими к вам одновременно, было нечто уникальное, необъяснимое, отчего у вас появлялось желание оправдаться, извиниться только за то, что вы просто человек.

«Я прекрасно понимаю те чувства безграничной преданности, которые он вызывал у своих слушателей и которые, несомненно, больше относились к нему самому, чем к его мыслям. Этот человек был создан для того, чтобы быть обожаемым толпами, и в иные времена наверняка повел бы их на завоевание мира, как Александр Македонский, на которого он походил немного в профиль, если судить по дошедшим до нас медалям. Во всяком случае, этот странный человек, угрожавший мне пистолетом, эти девицы, выставлявшие напоказ свои прелести, будто мясо в лавке мясника, это зловещее местечко, пропитанное запахом абсента и опилок, являли собой картину, которая на всю жизнь запечатлелась у меня в памяти. Незадолго до окончания моего “концерта” к нам присоединились двое сообщников Армана Дени, одним из которых был знаменитый Саппер, бывший жокей-бомбометатель, а другим – один из известнейших королей воровского мира того времени Альфонс Лекер, который впоследствии сошел с ума и кончил свою жизнь в псих-лечебнице и чьи связи с анархистами были по меньшей мере неожиданными. Стоит ли говорить, что лишь во время дачи показаний в полиции я узнал имена похитителей. Впрочем, в полиции считали, что Альфонс Лекер оказался в этом месте случайно и совершенно не был причастен к тому, что произошло со мной. С ними была также одна девушка, ярко выраженная блондинка необычайной красоты, не старше шестнадцати-семнадцати лет. Я был ошеломлен ее красотой, возможно, потому, что она являла собой такой контраст этому ужасному заведению и тем несчастным, которые там находились. Я так никогда и не узнал, кто она, откуда появилась и что там делала. Полиции о ней ничего не было известно, и мои восторги по поводу этого прелестного создания вызывали одни лишь веселые улыбки».

Краевский находился тогда в закате своей карьеры, но, по его собственному признанию, он никогда не играл так вдохновенно, как в тот вечер. «Таким образом я воздавал должное идеалу, пылавшему в душе этого человека, – пишет поляк и добавляет с этой своей склонностью к прикрасам, следы которых Леди Л. с сожалением находила порой и в его музыкальных интерпретациях, – идеалу, который приливами своих чувств грозил обратить в пепел весь мир».

Подвигов такого рода в карьере Армана Дени было немало. Быть может, в этом и вправду следовало видеть печать «буржуазного романтизма», в котором его упрекал Кропоткин, но Леди Л. казалось, что эта тяга к поражающему воображение, театральному свидетельствованию в действительности о новом понимании пропаганды и агитации – явлении, секрет которого был раскрыт лишь в XX веке. «Овладение массами» стало единственной целью эпохи во всех сферах и не могло осуществляться только за счет силы идей; театральность, инсценировка и разукрашенная всеми соблазнами сердца, воображения и мысли демагогия стали оружием в великих попытках обольщения, подготовка которых шла полным ходом. Франция всегда являла собой скороспелый плод, и драма Армана Дени заключалась в том, что он был первопроходцем.

Происшествие с итальянским дирижером Серафини показывает, что речь шла не о какой-то импровизации, случайно возникшей в голове юного идеалиста, но о четко спланированной, широкомасштабной кампании. Достопочтенного итальянца похитили по дороге в Оперу, где публика напрасно прождала его весь вечер; Арман и Фелисьен Лешан отвезли его в приют

на берегу канала Сен-Мартен, где на убогих нарах храпело, вычесывало вшей и горланило пестрое сборище бедняков и пьяниц. Там маэстро попросили дирижировать воображаемым оркестром, и два часа подряд, во фраке и с палочкой в руке, он жестикулировал, как кукла, перед кошмарной аудиторией, которая аплодировала и, судя по всему» очень возлюбила эту пантомиму, ибо едва давала несчастному время перевести дух и вытереть пот, градом катившийся по его испуганному лицу. Впрочем, Арман Дени питал глубокую идеологическую ненависть к музыке, поэзии и искусству вообще: во-первых, потому что оно предназначалось лишь для избранных, а также из-за того, что любое стремление к прекрасному казалось ему оскорбительным для народа, если не вписывалось в рамки всеобщей борьбы за изменение условий его существования. . .

Альфонс Лекер сказал несколько слов Арману Дени, и тот сделал знак Анетте следовать за ним. Он взглянул на нее лишь мельком. Леди Л., вспоминая ту сцену, даже сейчас еще в биении своего сердца и в неожиданно подступавшем к горлу комке ощущала всю неукротимость и глубину охватившего ее тогда чувства. Это было первым проявлением одной из черт тиранической и властной натуры, ошибки которой сегодня ей были слишком хорошо известны. Красота – мира, людей и вещей – всегда как бы приводила ее в смятение либо вызывала наводящее смертную тоску ощущение эфемерности; потребность продлить, увековечить перерастала в стремление к страстному обладанию, неуступчивое и отчаянное одновременно. Она никогда не могла смотреть на Армана без возмущения, ибо знала, что через минуту он отвернется, уйдет, бросит ее, и неистовое, абсолютное счастье, которое она испытывала, когда ощущала его в себе, не сможет продлиться, что, в сущности, оно эфемерно и обречено на гибель и что эти скоротечные мгновения и есть то единственное, что она сможет когда-либо узнать о вечности. Жажда обладать вновь просыпалась в ней с такой силой, что она заранее была готова на любые формы подчинения.

– Наверное, я была еще просто маленькой обывательницей, – сказала Леди Л.

По узкой винтовой лестнице они поднялись в одну из комнат четвертого этажа, где он впервые заговорил с ней, но она не вслушивалась в смысл его слов – уже одного его голоса и его присутствия ей было достаточно. И тем не менее еще сегодня она была уверена, что смогла бы с мягкой иронией восстановить все, что он тогда ей сказал под звуки музыки Листа, доносившейся снизу; она так хорошо его изучила, что вряд ли могла ошибиться, более того, она чувствовала себя способной добавить еще одну, финальную главу к его «Трактату об анархии».

– Искусство – преждевременно. Понятие «прекрасного», когда оно оторвано от социальной действительности, по сути, реакционно: вместо того чтобы бинтовать раны, их прячут. Достаточно пройти по нашим музеям, чтобы увидеть, до каких крайностей может пойти художник в своей лжи и пособничестве: эти восхитительные натюрморты, эти прекрасные фрукты, устрицы, отборное мясо, дичь – оскорбление всех тех, кто подышает с голоду в двухстах метрах от Лувра. Нет ни одной оперы, в которой народ мог бы услышать отклик на свою нищету, на свои чаяния. Наши поэты говорят о душе, хлеб их не вдохновляет. Церковь пошатнулась, и поэтому музеи втихомолку готовят к тому, чтобы они приняли эстафету у этих курилен опиума. . .

В течение всего времени, что они прожили вместе, его был один из любимейших его припевов, а также одна из причин, побудивших Леди Л. С такой любовью собирать произведения искусства: впрочем, дело было не столько в вызове, сколько в мягкой иронии. Еще один Рубенс, Веласкес, Эль Греко: в сердечных делах не бывает мелких выгод, и его надо было немножко наказать. Она даже стала рассматривать Армана как сбившегося с пути художника, требовавшего от социальной действительности того, что дать ему могло только искусство,

– совершенства. Он стремился разрушить существующий строй потому, что тот был ему противен так же, как официальная живопись противна тем, кто мечтает о новом свободном искусстве. Анархисты, несомненно, дикий период идеализма. Переходя от одного разочарования к другому, от одной неудачи к другой, некоторые из них самым естественным образом пришли к фашизму, либо чтобы попытаться наконец полностью овладеть сопротивляющимся им человеческим материалом, либо просто из-за отсутствия таланта. Но в маленькой комнатке, где она тогда находилась, не существовало ничего, кроме той яростной, будто исходившей от него силы и того гипнотического взгляда.

– С его внешностью, с его умом, – сказала Леди Л., – он сделал бы в восемнадцатом веке замечательную карьеру шарлатана и пошел бы еще дальше, чем Калиостро, Казанова, Сен-Жермен. . . К сожалению, век разума закончился, он же был идеалистом. Худшего для себя я не могла и представить,

Сэр Перси сидел подле нее на мраморной скамейке в конце аллеи, в нескольких шагах от дорожки, что вела к павильону. . . Он скрестил руки на набалдашнике трости и мрачно разглядывал свои ботинки. Он не испытывал ничего похожего с тех пор, как Маунтбаттен, последний вице-король, покинул Индию. Он был не то чтобы рассержен, от возмущения он просто оцепенел. И радостный смех веселившихся на лужайке детей лишь подчеркивал весь ужас истории, которую его вынуждала слушать их прабабушка.

– А потом? – спросил он надменным голосом. – Что случилось потом?

Леди Л. подавила улыбку. Бедняга Перси, вот уж действительно типичный для него вопрос. Но все же следовало его немного пощадить.

– Ну, мы проболтали всю ночь, – добродушно проговорила она.

Сэр Перси вздохнул с облегчением и впервые сделал легкое движение головой – жест, который с натяжкой можно было принять за знак одобрения.

Анетте не понадобилось много времени, чтобы понять, с каким человеком она имеет дело. Как только он начал говорить о свободе и равенстве, смешивая воедино правосудие и убийство, всеобщую любовь и разрушение, человеческое достоинство и бомбы, наугад швыряемые в толпу прохожих, она тотчас узнала знакомый мотив: все это она уже слышала. Только голос другой – и отличие было просто поразительным. Все теории, которые ее так утомляли, когда исходили из уст отца, казались ей благородными и прекрасными, когда излагались этим пылким голосом и с такой мужественностью и уверенностью. Она сразу поняла, что видел в ней революционер, и пустила в ход все свое женское обаяние, всю свою интуицию, чтобы казаться в его глазах такой, какой он ее себе представлял, такой, какой он хотел ее видеть: жертвой прогнившего общества, униженной и возмущенной душой, которая просто жаждала присоединиться к бунту, сражаться бок о бок с ним и его товарищами. Он был самое прекрасное, самое желанное из всего, что попадалось ей в жизни: не могло быть и речи о том, чтобы упустить такую неожиданную удачу. Она объяснила Арману, что ее отец отдал жизнь за марксистские убеждения. Да, да, и ей было всего лишь двенадцать, когда она начала ему помогать, разнося поджигательные памфлеты в корзине для белья. Она лгала так убедительно и с такой легкостью вжилась в роль, что в итоге сама во все это почти поверила, и когда однажды, спустя несколько недель после их знакомства, привела Армана на могилу господина Будена, то искренне расплакалась – ведь она, в конце концов, потеряла родного отца.

Было шесть часов утра, когда они вновь спустились в гостиную; Краевского они застали спящим на клавиатуре, а жокея – сидящим на зеленом плюшевом диване: глаза его были закрыты, руки скрещены, голова скошена набок, на коленях лежал пистолет. . . Лекер спал в

кресле. Девушки исчезли. Арман разбудил пианиста и любезно препроводил его в отель. Перед уходом виртуоз восхищенно посмотрел на Анетту и поклонился.

– Вряд ли я когда-нибудь еще буду иметь удовольствие играть перед самым воплощением Грации и Красоты, – сказал он ей, что впоследствии и подтвердил, с некоторой снисходительностью, когда описывал этот случай в своих мемуарах.

Краевский заблуждался.

Несколькими годами позже, после сольного концерта, который он давал в Глендейл-Хаузе на приеме в честь принца Уэльского, виртуоз оказался сидящим слева от хозяйки. Он ее не узнал, что несколько покорило Леди Л.

Арман Дени без обиняков объяснил новому члену чего ждет от нее Освободительное Движение: она должна стать приманкой и наводчицей. Им требовалась именно такая – красивая, умная и преданная их делу сообщница. Боевой комитет существовал лишь благодаря финансовой поддержке Альфонса Лекера, то есть на доходы, которые тот получал от публичных домов, что находились под его контролем, и от своей сети игорных домов в предместье Сен-Жермен. Он как раз занимался срочной ликвидацией своих счетов, так как его покровители советовали ему покинуть страну Освободительное Движение будет, вероятно, вынуждено разместить свои штаб-квартиры в Швейцарии; впрочем, это только поможет взять под контроль различные идеологические фракции, образовавшиеся внутри Интернационала, и, в частности, обуздать русских уклонистов, что представляло особую сложность из-за совестливой личности Кропоткина и интеллектуального влияния, которое он оказывал на эмигрантов. Замысел Армана заключался в том, чтобы «явить миру революционное движение в работе», то есть показать «болтунам» и «демагогам», что лишь он один способен действовать по-настоящему и добиваться положительных результатов. Анетта ехала в Женеву играть роль безутешной молодой вдовы; она должна была внедриться в окружение праздных богачей, отдохавших на берегу Женевского озера, и выуживать сведения, необходимые для совершения различных покушений, и, в частности, на Михаила Болгарского, к которому анархисты-славяне питали в тот момент особую ненависть, но которым Кропоткин отказывался заниматься, считая его ничтожно малой величиной. Само покушение должен был совершить один болгарский товарищ, но он являлся лишь простым исполнителем, а вся ответственность за его подготовку возлагалась на Боевой комитет.

Леди Л. слегка приподняла брови и повернулась: сэръ Перси Родинер остановился позади нее на аллее, а брошенное им грубое слово сделало бы честь даже сапожнику.

– Что ж, друг мой, вы делаете успехи, – сказала она с удовлетворением.

– Balls, balls, balls!* – три раза прорычал Поэт-Лауреат. – Неужели вы и в самом деле хотите заставить меня поверить, Диана, что вы были причастны к убийству Михаила Болгарского, который, как это вам хорошо известно, был кузеном наших Мэримаунтов? Ведь не станете же вы утверждать, что у вас было что-то общее с цареубийцей?

– Как что-то общее? – воскликнула Леди Л. – Все общее, дружок мой. Все. И, уверяю вас, я ощущала себя счастливейшей из женщин.

Ей стало немного совестно, что она так его напугала. Бедная Англия, у нее уже отняли все, и было и в самом деле немного жестоко разрушать таким способом образ единственной знатной дамы, которая у нее оставалась. Это уже нечто большее, чем терроризм: это вандализм. Но ведь надо же было как-то подготовить Перси к ужасному откровению, которое она намередовалась ему сделать.

*Вздор, вздор, вздор! (англ.)

– Вы отлично знаете, Диана, что князь Михаил был на самом деле убит болгарским студентом в Женеве.

Леди Л. кивнула:

– Да, операция прошла удачно. Мы очень тщательно ее подготовили.

– Кто это «мы»? – рявкнул сэр Перси Родинер.

– Арман, Альфонс, жокей и я. Кто же еще, по-вашему? И я очень прошу вас не орать, Перси, ну и манеры!

– Тысяча чертей. . . – Поэт-Лауреат вовремя спохватился и замер посреди аллеи, с тростью в руке, в позе человека, приготовившегося нанести удар по голове неожиданно возникшей перед ним кобры.

– Вы отдаете себе отчет, что старший из ваших внуков – министр? – прорычал он. – Что Джеймс – член совета Английского банка, а Энтони скоро станет епископом? И вы полагаете, я поверю, что их бабушка, одна из наиболее уважаемых женщин своего времени, чьи портреты кисти Болдини, Уистлера и Сарджента висят в Королевской Академии и которая получила сегодня утром поздравительную телеграмму от самой королевы Елизаветы, участвовала в царевубийстве?

– Поздравительная телеграмма тут ни при чем, – сказала Леди Л. – И потом, вам вовсе не обязательно посвящать их в это. Пусть это останется между нами. Очень жаль, между прочим,.. Как было бы забавно!

Сэр Перси втянул в себя воздух, возмущенно присвистнув.

– Диана, – сказал он, – я знаю, вам нравится подтрунивать надо мной. Это всегда было вашим любимым видом спорта, особенно после того, как вы перестали ездить верхом. Но я прошу вас ответить мне без обиняков: участвовали ли вы в убийстве кузена Мэримаунтов, которые, как вам хорошо известно, породнены с нашей королевской семьей?

– Разумеется, да, – заявила Леди Л. – И могу вас заверить, все было продумано до мелочей: мы очень серьезно готовили акцию. Товаров – убийца – был полным кретином, хотя и не лишенным благих намерений. Мы его заперли в гостиничном номере, и он там целую неделю ждал приказа, поглаживая лезвие своего кинжала, вздрагивая и бормоча вдохновенные слова: он был истинным социалистом, он мечтал о всеобщем братстве и поэтому идеально подходил для роли убийцы, но ему все нужно было приготовить, как ребенку. Ог графа Райтлиха я узнала, в котором часу князь Михаил отправится из гостиницы на обед в посольство, и, помнится, меня так трясло – они впервые действовали, основываясь на добытых мною сведениях, – что я зашла поставить свечку в храм Пресвятой Девы, чтобы все прошло благополучно. Затек я бегом вернулась в гостиницу «Берг», где Арман снял роскошный номер и где они все уже стояли на балконе, приготовившись наблюдать за убийством в бинокль. Я опаздывала, и это едва не началось без меня. Я вбежала на балкон, попросила налить мне чаю, и мне показалось, что я сижу там уже несколько часов, пью чай вприкуску с засахаренными каштанами – у них в Швейцарии всегда были самые вкусные засахаренные каштаны, – но, очевидно, не прошло и нескольких минут после моего возвращения, когда из гостиницы вышел князь Михаил и сел в карету. Тут я увидела, как от толпы отделился Товаров и вонзил кинжал регенту в самое сердце. Он пырнул два раза в сердце, а затем стал наносить удары куда попало – очень по-болгарски, вы не находите? Надо сказать, что Мишель очень плохо вел себя в своей стране: он спровоцировал погромы – нет, ошибаюсь, погромы были оставлены для евреев, – кажется, он Млел высечь крестьян, потому что они подыхали с голоду или что-то в этом роде, такое же нелепое. Один из офицеров охраны – они все были в белом, с белыми перьями на касках – в итоге зарубил Товарова саблей, но Михаил к тому времени был уже мертв. Наблюдаемое с балкона и в бинокль, все это казалось очень нереальным, опереточным.

У меня было полное ощущение, что я нахожусь на самых удобных местах в театре.

И тут сэр Перси Родинер сделал нечто совсем уж неожиданное: он принялся ухмыляться. «И на здоровье, – подумала Леди Л., – быть может, несмотря ни на что, осталась в нем еще хоть капля юмора». Она не могла надеяться, что избавит его от моральных предрассудков: не было и речи о том, чтобы этого простолюдина превратить в настоящего анархиста, нигилиста; только истинные аристократы могут эмансипироваться так полно. Но маленький прогресс все же был.

Свет Кента – умеренный, пристойный, который, казалось, возвращал вас во времена лодочных прогулок по Темзе с гувернантками и сачками для ловли бабочек, – убывал с неторопливостью хорошего тона, отчего у Леди Л. появлялась ностальгия по какой-нибудь яркой вспышке или внезапной, резкой темноте. Ей были противны все эти целомудренные вуали, наброшенные на грудь природе, восторги по поводу которой всегда пытался умерить англиканский климат. Стоящие в аллее под каштанами в этом умело дозированном свете, издали они оба казались ожидающими кисти мастера-импрессиониста. Она считала, что им недостает крайности, страсти. Одному лишь Ренуару иногда удавалось обращаться с женским телом с пренебрежением, какого оно заслуживает.

Перси наконец перестал ухмыляться.

– О! Как странно, – произнес он мрачным голосом, – и как отдает дурным вкусом. Полагаю, вы придумали всю эту историю только потому, что знаете, как я привязан к Мэримаунтам. Кстати, на прошлой неделе я провел у них выходные.

Леди Л. нежно взяла его за руку:

– Пойдемте, дорогой Перси. Нам осталось сделать всего несколько шагов. От вас требуется лишь пошире открыть глаза.

Глава V

Дни, последовавшие за встречей на улице де Фюрсей, показались Анетте еще более тягостными, чем работа в материнской прачечной, и едва ли менее гнусными, чем требования – в общем, не такие уж трудновыполнимые – клиентов, которых она принимала у себя дома. С утра до вечера нескончаемые сеансы муштровки: ее учили ходить, садиться, чихать, сморкаться, говорить, одеваться, словом, «держаться» и «обращать на себя внимание», и, хотя Арман не устал повторять, что она делает поразительные успехи и в совершенстве обладает тем врожденным свойством «тайны», благодаря которому некоторые женщины так хорошо умеют скрывать то, чего им не хватает, позволяя таким образом мужчинам угадывать в них все те добродетели, которыми они их наделяют, случались моменты, когда ей казалось, что в попытке стать дамой следует идти гораздо дальше в нарушении законов природы, нежели тогда, когда предаешься удовольствиям.

Она нередко проливали слезы над тетрадкой, которую исписала под покровительством господина Пупа, каллиграфа, элегантными «А», «Б», и «В», ибо в те времена письмо считали важным искусством, и ее заставляли «набивать руку» по нескольку часов в день. Она была искренне возмущена, даже оскорблена одним особенно порочным грамматическим упражнением, которое заставлял ее повторять сам Арман:

Ах, надо же мне было вас увидеть
И, полюбив, об этом вам сказать,
Чтоб вы, не побоясь меня обидеть,
Решили все же гордо промолчать.

Ах, надо же так было полюбить,
Чтобы надеждою меня не одарили,
Чтобы я стала вас боготворить,
А вы меня за это погубили!

К счастью для Анетты, годы, проведенные ею в заучивании наизусть и пересказе, к огромному удовлетворению ее отца, сочинений пророков социального бунта, привили ей некоторую легкость в обращении со словами, а также наделили изяществом речи и даже мысли; возвышенное видение человечества, внушаемое писателями-анархистами, в конечном счете наложило на нее отпечаток и придало ей элегантности, что значительно облегчило задачу ее учителей хороших манер. Великодушные и благородные порывы Бабефа, Блана, Бакунина пробудили в детской душе мечтательное и безотчетное стремление к красоте, стилю, изяществу, которое немедленно проявилось в ее манере одеваться. Не долго думая, ее поселили в небольшой гостинице «Пале-Ройяль» под именем мадемуазель де Буазеринье – юной особы из провинции, приехавшей в Париж в надежде отвоевать себе местечко в полусвете. Именно там бывший актер «Комеди Франсез» месье де Тюли, страдавший от болезни, которая в итоге дала осложнение на горло, что свело к трагическому шепоту некогда волновавший сердца голос, начал давать ей уроки светских манер, разыгрывая настоящие театральные сцены, в которых надо было принимать элегантные позы, передвигаться в замедленном темпе, напускать на себя томный, интригующий вид, а вслед за тем последовали еще более ужасные упражнения на дикцию, с зажатым между зубами карандашом. От этих нескончаемых испытаний Анетта

впадала к концу дня в состояние полнейшей прострации и нервного напряжения, которое мог снять только Арман. Уроки продолжались в течение месяца, и удовлетворенный мэтр не раз отвратительным хрипом выражал восхищение своей ученицей:

– Она великолепна! Природные данные, стиль, шик, это у нее в крови. Я гарантирую вам полный успех!

После нескольких недель блеска, маленьких драм, рыданий, благодаря своему врожденному чувству прекрасного, своему уму, чутью она торжествовала победу надо всеми тенетами *хорошего тона* и *комильфо*, однако след народной издевки навсегда остался в ее голосе, что в Англии относили на счет графства Франш-Конте, откуда вела происхождение ее благородная ветвь и чей колорит она сумела сохранить в своей речи. Затем пришло время самой деликатной и самой сложной части ее воспитания. Арман вынужден был ей объяснить, что она должна научиться казаться менее осведомленной, менее искусной в своих любовных восторгах, что она должна, не колеблясь, проявлять неловкость, обнаруживая тем самым незнание, которое сопутствует хорошему воспитанию и которое непременно сойдет за невинность в глазах дилетантов благородного происхождения, помешанных на добродетели.

– Боже мой, Перси, что с вами сегодня? – раздраженно спросила Леди Л. – Перестаньте ворчать, я прошу вас. Я была молода, преисполнена решимости и страсти, а вы же понимаете, в Швейцарии. . . Арман оказался абсолютно прав. Вы знаете, что из себя представляют настоящие джентльмены, Перси. Общаясь с ними, нужно всегда надевать перчатки.

Поэт-Лауреат дрожащей рукой взял носовой платок и вытер пот со лба. Послышались звуки свежих голосов, взрывы смеха, и на аллею выбежали правнуки Леди Л. Их было трое: две девочки и один мальчик, Патрик; он был одет в костюм учащегося Итона, а в руках нес манто Леди Л.

– Я принес ваше манто, Лапонька-Душечка, – гордо заявил он. – Мама о вас беспокоится. Говорит, что становится прохладно.

Леди Л. нежно погладила темные локоны. Она питала слабость к малышу. Он был сама прелесть, да и к тому же мальчики всегда ей нравились больше девочек.

– Merci, mon mignon*, – произнесла она по-французски. – Отнеси, пожалуйста, манто маме и скажи ей, чтобы не волновалась. В моем возрасте уже просто не может быть причин для волнений.

– О! Вы еще не такая и старая, – сказал Патрик. – Мама уверена, что вы проживете до ста десяти лет.

– Бедняжка Милдред, я вижу, она действительно очень обеспокоена, – сказала Леди Л. – А теперь бегите, дети. Мы с сэром Перси расчувствовались, вспоминая доброе старое время. Не правда ли, дорогой Перси?

Поэт-Лауреат бросил на нее взгляд, полный ужаса, во ничего не сказал. Как всегда, дети сразу же подчинились. Они действительно были очень хорошо воспитаны.

После шести мучительных месяцев «дрессировки», как она это называла, Анетта вдруг начала так хорошо и быстро усваивать все уроки и привела Арману столько доказательств своего знания правил хорошего тона, что поджимаемый временем молодой анархист совершил одну ошибку, которая едва не привела к катастрофе. Он решил подвергнуть Анетту испытанию и, чтобы положить финальный мазок, послал ее в знаменитый пансионат Плен-Монсо, где девушки из хороших семей – иностранки или провинциалки – проводили несколько ме-

*Спасибо, милоч! (фр.)

сяцев перед своим выходом в свет. Однажды, после первых двух недель хорошего тона, когда мадемуазель Рен, директриса заведения, читала своим воспитанницам особенно поучительный отрывок из «Очаровательной пташки», Анетта тихо, но довольно внятно произнесла: «О-ля-ля, подохнуть можно от скуки!» Фраза прозвучала в мертвой тишине с таким акцентом правды, что мадемуазель в ужасе усомнилась, действительно ли юная особая является племянницей генерала графа де Сервиньи и внучкой прославленного кавалериста той же фамилии, павшего в бою под Маренго. Это легкое сомнение усилилось, когда от одной из воспитанниц она узнала, что в разговорах с девушками Анетта никогда не называла ее иначе, как «эта старая сводня». Она провела быстрое расследование и обнаружила, что все написанные великолепным каллиграфическим почерком рекомендации, представленные «дядей» ее воспитанницы, – фальшивки и что последний сеньор де Сервиньи давно отдал Богу свою христианскую душу в Сен-Жан-д'Арк неподалеку от Сен-Луи. Побоялись ограбления, вызвали полицию; к счастью, Анетту вовремя предупредила о подозрениях мадемуазель Рен одна из юных овечек последней» пришедшая в неопишуемый восторг от богатого словарного запаса подружки и от разнообразия знаний, которыми та обладала в некоторых чрезвычайно привлекательных областях. Анетте удалось предупредить Армана, и она поспешно бежала в панталонах – платье мадемуазель Рен держала под замком – через окно, рано утром, до прихода комиссара, не преминув оставить письмо, написанное элегантно почерком, но таким языком, что директриса пансиона, прочитав лишь первые строчки, поднесла руку к сердцу и просто-напросто упала в обморок. Не успели ее привести в чувство, как при мысли о вреде, возможно непоправимом, который паршивая овца наверняка причинила ее стаду, она вновь потеряла сознание.

Именно тогда смерть одного из самых выдающихся деятелей молодой Республики неожиданно лишила Альфонса Лекера покровителя, которого он уже много лет держал на крючке. Купленные им полицейские смогли лишь сообщить ему о резолюции, принятой на совещании в Министерстве внутренних дел: был наконец решен вопрос о его аресте. В своих «Мемуарах» комиссар Маньен с надлежащей суровостью заявляет, что король апашей умер бы, вероятно, богатым и почитаемым, если бы не пытался придать своим преступлениям характер социального бунта и скромно согласился бы остаться сутенером и вымогателем, каким был в течение двадцати лет своей жизни. Сеть «домов», в числе которых были Шабанэ и Ройяль, два игорных клуба, конюшня скаковых лошадей, особняк, фаэтоны и кареты были спешно переоформлены на одно подставное лицо, человека, который, не боясь мести затравленного исполина, взял и присвоил все это богатство. Так было внезапно прервано обучение Анетты, и она очутилась вдруг в Швейцарии, в мире, совершенно не похожем на тот, который она знала до сих пор. Преисполненный невыразимой горечи, взбешенный, оскорбленный и бормочущий страшные угрозы в адрес общества, Альфонс Лекер сделал своей резиденцией кофейни Женевы и Лозанны, с угрюмым и снисходительным видом позволяя Арману представлять его различным русским и итальянским анархиями как великого борца за свободу и первопроходца нового мира, пока жокей, как всегда странно скосив набок голову, смиренными и грустными глазами смотрел на своего друга.

Глава VI

Первые недели наедине с Арманом в Швейцарии оставили в ее душе такие светлые воспоминания, и она была тогда такой молодой, что сегодня Леди Л. казалось, что детство ее, несмотря ни на что, было счастливым. Даже пистолеты, которые он постоянно держал у изголовья, не могли навести на мысль о некоей скрытой опасности. Это были такие насыщенные, такие жизнерадостные мгновения, что всякое беспокойство, всякий страх попросту исключались.

Она жила одна в гостинице «Берг» – молодая безутешная вдова некоего графа де Камозенса; ее горе угадывалось по томному виду, оно сквозило в ее разочарованном взгляде, скользившем по людям и вещам как бы случайно; шептались, что она приехала в Швейцарию на консультацию к врачам; говорили о странной подтачивавшей ее болезни, уточнялось, что речь идет пока не о чахотке, но о том сумеречном состоянии души, которое так часто предшествует острым проявлениям недуга. Ее бледность и усталость, когда она порой прогуливалась со своими двумя борзыми в окрестностях Женевского озера, вовсе не были притворными: Арман, возможно потому, что оказался обреченным на бездействие в ожидании совещания руководства нового анархистского Интернационала в Базеле, был горяч и требователен, как никогда; расточительность, с какой он тратил свои молодые силы в объятиях любовницы, теоретики боевых действий немедленно сочли бы возмутительным разбазариванием энергии; они, вероятно, не колеблясь стали бы утверждать, что то, что он так щедро отдавал, отнималось у народа. Каждый день на рассвете Анетта взбегала, перешагивая сразу через несколько ступенек, по лестнице обветшалого дома в старом квартале Женевы, стучала в дверь студенческой комнаты и там бросалась в объятия к своему любовнику – хрупкое суденышко благополучно прибывало наконец в порт назначения; освободившаяся, бежавшая из своей тюрьмы, она странным образом успокаивалась сразу, как только ощущала его в себе; какое-то время они неподвижно лежали в этом полном умиротворении» предвкушая податливо-покорное блаженство, которое уже не могло не наступить. Затем, жадно склонившись над лицом, на которое она готова была смотреть и смотреть без усталости в беспорядке маленькой комнаты, заполненной книгами, рукописями, газетами, следами остывшей пищи, рассыпав свои волосы по груди Армана, она скользила пальцем по выражению спокойного и улыбающегося счастья на его чертах, чтобы заучить наизусть его рисунок и иметь затем возможность восстановить его по желанию, зажмурив глаза, в роскошном и холодном одиночестве своих апартаментов или во время прогулки вдоль озера в матовых полутонах нежной и благопристойной природы, которая умела так хорошо «держаться» и, казалось, была сама чистота. Это были три недели упоения и переизбытка чувств, все время обновлявшихся в бурных возвращениях их страсти, и напрасно большое прозрачное озеро, которое они видели из окна, своим спокойствием призывало их к мудрости и сдержанности. Иногда ей чудилось, что все это сон, что ей нужно будет проснуться, спуститься на землю. Она вздыхала, бросала на него взгляд, полный грусти.

- Ну так что, этот пикник скоро кончится?
- Какой пикник, хорошая моя?
- Сейчас пойдет дождь, и надо будет возвращаться. . .

Были моменты, когда она думала, что ему наконец удалось избавиться от этой мечты о всеобщем счастье, которое будет даровано каждому, что они наконец остались одни, и даже два заряженных пистолета на ночном столике выглядели словно брошенные там поспешно

бежавшим террористом. Забыты великие цели социальные потрясения, бомбы, которые следует бросить, и кровь, которую нужно пролить, подпольные собрания и боевые группы; все, что оставалось, – здоровый крепкий парень, возвращавший наконец ласкам и поцелуям их законное место в жизни – первое, несомненно. Анетта, правда, подозревала, что Свобода, Равенство и Братство ждут где-то снаружи; в котелках и щеголя пышными усами, они гремят сапогами по мостовой – ожесточившиеся, обозленные, то и дело нетерпеливо вытаскивающие из кармана часы, чтобы посмотреть время. Но она старалась не слишком задумываться: она уже знала, что счастье – это забвение. Впрочем, будущее – привилегия мужчин. Для себя же она открыла новое сокровище, очень женское, неожиданное: сегодня. Она могла только догадываться о той борьбе, которую Арман Дени вел сам с собой, оказавшись между неожиданно возникшей тягой к устройству личной судьбы и неустанными призывами, которые мир голодных и рабов, мир презрения и безразличия обращал к нему самим своим молчанием, молчанием, которое так хорошо умела перекрывать своим голосом буржуазная пресса. И только значительно позже – а точнее, семнадцать лет спустя – Леди Л. обнаружила след этой мучительной борьбы в письме, написанном вскоре после их приезда в Женеву Арманом Дени социалисту Дино Скаволе, которого идеи Карла Маркса воодушевляли намного больше, нежели кровавый абсолютизм анархистских императивов. Письмо было воспроизведено во втором томе автобиографии Скаволы*. «Возможно, вы правы. Мне иногда приходит на ум, что терроризм в большей степени проистекает из своего рода нетерпения, чем из революционной логики. Впрочем, то, что вы говорите о взаимоотношениях между терроризмом и поражёнчеством, возможно, не лишено оснований». Скавола опубликовал свое письмо к Арману Дени: «Пусть же царство разума придет наконец на смену разгулу страстей, пусть жуиры абсолюта откажутся наконец от своего идеалистического буйства, пусть же экстремизм души прекратит насиловать все человечество... Ваши друзья говорят о любви к людям, но ведь сколько среди них таких, кто главным образом пытается утолить личную жажду мести Мирозданию, наказывая людей за их несовершенства... Их поведение в социализме – то же самое, что извращение чувств в любви».

Но она знала тогда только то, что держит в объятиях необыкновенное в своей страстной одержимости существо, и у нее не было еще опыта общения с мужчинами такого типа, чтобы понять: если он вкладывает столько неистовства и самозабвения в свои ласки, то лишь потому, что пытается таким образом забыть в ее объятиях о другой любви, более великой и более ненасытной, чем та, которую внушала ему она. Она не научилась еще видеть в человечестве свою соперницу, и ей случалось даже думать, что в жизни ее любовника никого другого, кроме нее, нет. По-видимому, это был единственный момент в карьере апостола «перманентной революции», когда юный экстремист подвергся искушению выбраться из бурлящих глубин, где, удерживаемый убеждениями, пребывал уже несколько лет, сделал попытку всплыть на поверхность, получить доступ к несущественному, к банальности поцелуев, ландышей и голубого неба. Он пробовал быть счастливым. Порой они вставали и выходили на балкон полюбоваться видневшимися поверх крыш бледными водами великого озера, и горы как бы раскрывались перед ними в своеобразном приветствии, бросая вниз в прозрачную воду свой снежный пик. Но Анетта очень скоро уставала от пейзажа. Единственное, на что она могла смотреть часами, было это чувственное трепетное лицо с немного приплюснутым носом и льющейся львиной гривой, эта сильная шея и крепкие плечи под рубахой из белого шелка с открытым воротом; ей все время хотелось притронуться к такому кошачьему носу, запустить пальцы в растрепанную шевелюру с бронзовым отливом, склониться над томными и одновременно веселыми

* «Революции, революционеры», 1907. (Примеч. автора.)

глазами, менявшимися в цвете, когда он улыбался. Голос был глубоким, отрывистым, всегда немного резковатым, как движения тела, которое то цепенело, то вдруг оживало, но которому, казалось, было неведомо, что значит медлительность, неспешный ленивый жест, небрежная вялость.

– Арман, научи меня какой-нибудь песне о любви. . .

– Черт возьми. Неужели ты не выучила ни одной песни, Анетта?

– Те, что я знаю, слишком короткие и грустные. Жалобы, стоны, рыдания, умирание, как будто у всех тех кто их пишет, не все в порядке с легкими. Напиши мне настоящую песню о любви, Арман.

– Сегодня я немного не в ударе, хотя попробовать, конечно, можно.

Вот так в одной из мансард Женевы затравленным террористом были написаны слова песни, такой популярной во Франции к 1895 году – «Скоротечное счастье», – положенные, впоследствии на музыку Аристидом Фийолем. Когда Леди Л. впервые услышала припев на одной из парижских улиц, проезжая в машине о английском послом сэром Алланом Хазлитом, и неожиданно узнала знакомые слова: «Прощай, краткий миг, прощай, скоротечное счастье. . . », она побледнела под вуалеткой, закрыла лицо руками в перчатках и разрыдалась. Ибо Арман вовсе не оказался удачливее всех других поэтов, его предшественников: песню он сочинил слишком уж короткую и грустную.

Однако терявшие терпение Свобода, Равенство и Братство вскоре заявили о себе. Арман предоставлял убежище политэмигрантам: полякам, стремившимся освободиться от русского ига; немецким революционерам, которые раз за разом, с присущей их народу аккуратностью» терпели неудачи в своих покушениях на кайзера; венграм» еще мечтавшим о Кошуте; итальянцам» готовившим убийство своего короля; сербам, ожидавшим падения Габсбургов. Все чаще после того, как Анетта со счастливой улыбкой взбегала на пятый этаж» в проеме двери перед ней открывался вид на группу субъектов, составлявших планы покушений в Париже, Вене или Москве на листочке бумаги, на котором еще валялись голова с круглыми глазами и кости от приготовленной по-русски селедки. Они проводили там ночь, либо засыпая прямо на полу, либо с неутомимой горячностью обсуждая до самого рассвета политические новости, что приносили из своих стран свежеизгнанные товарищи.

С каким возбуждением, с каким энтузиазмом встречали они малейший слушок, цепляясь за каждую ниточку надежды, видя во всем знаки, благоприятные для себя, каждый день ожидая необычных, резких перемен, бунтов, которые ничто не сможет остановить и которые позволят им наконец все взять в свои руки и прийти через кровь к чистоте, а через бойню – к справедливости. Все они считали, что окружены всемирной симпатией; угнетенные слои общества только и ждут сигнала, чтобы восстать, массы на их стороне, это всего лишь вопрос нескольких месяцев, недель, часов. Ни одного рабочего среди них, ни одного сына рабочего или крестьянина; русские были все благородного происхождения и часто носили известные фамилии; немцы – романтичные буржуа, страстно влюбленные в поэзию; итальянцы – любители *бельканто*, мечтавшие превратить человечество в песнь любви и красоты, чтобы претворить в жизнь оперы, которые они в себе ощущали. Все они несли на себе отпечаток такого аристократизма души и такой изысканности чувств, что запросто подменяли Дамой-Человечество ту другую Даму, которую воспевали трубадуры в эпоху куртуазной любви; человека они делали божеством, а свою политическую веру – церковь; в революции они искали более подлинные дворянские титулы, нежели те, которыми многие из них были наделены; пораженные впоследствии интеллектуальным капитулянством – естественным следствием их чересчур взыскательных стремлений, некоторые из них, примкнув к фашизму и нацизму, совершили типичное самоубийство разочарованной любви. Были среди них великие мечтате-

ли с чистыми сердцами, швырявшие бомбы в парламентах, где великие буржуазные ораторы распинались перед своими любовницами, и гордо восходившие на эшафот, преподнося таким образом мечте в знак почитания отрубленную голову. Напрасно пыталась их трагическая и отчаянная жестокость нарушить последний сон истекающего столетия; они обладали слишком тонким слухом и уже слышали отдаленный гул вала истории, который должен был хлынуть мощным потоком, но им не хватало ни терпения, чтобы его дождаться, ни власти, чтобы его ускорить.

Анетта заставляла их всех в маленькой комнатке: сгрудившись вокруг стола с хлебом и засохшей колбасой на газетной бумаге, они мечтали о каком-нибудь чудодейственном кратчайшем пути, каком-нибудь сказочном подвиге, который привел бы прямо к цели, избавив их от медленной и приводящей в отчаяние воспитательной, пропагандистской и организационной работы. Один из них – русский – скрывался там в течение двух недель; он был толстый, лысый и бородатый, я от него несло табаком. В Женеве он дожидался денег, которые должна была прислать ему мать, чтобы он мог вернуться в Санкт-Петербург и убить царя. Он постоянно рассказывал о матери, объясняя всем и каждому, какая это выдающаяся, храбрая и умная женщина. Его звали Ковальский, а его мать действительно была знаменитой графиней Ковальской; сосланная в Сибирь за революционную деятельность, она стала там тайной советчицей и вдохновительницей Чулкова. Несколькими неделями позже Ковальский действительно вернулся в Россию, но вместо того, чтобы взорвать царя, он нечаянно взорвал родную мать, не сумев предотвратить несчастный случай, вызванный бомбой его собственного приготовления. Был также Килимов, молодой офицер, бывший кадет пажеского корпуса, молчаливый, задумчивый, замкнутый человек, убивавший время, играя в шахматы с самим собой и постоянно проигрывая, что, по-видимому, вызывало у него мрачное удовлетворение. И Наполеон Росетти, маленький жизнерадостный итальянец, уроженец Кремоны, который играл на скрипке в ресторанчиках и никогда не прогуливался по Женеве без бомбы в своем таком безобидном с виду футляре.

– Никогда не знаешь, мадемуазель, – любезно объяснял он Анетте, – с кем выпадет встретиться на посещаемых такой благородной публикой берегах Женевского озера. Так что мой девиз: «Всегда готов услужить».

В «Эссе об искусстве» сэра Бертрана Мура, опубликованном в 1941 году, Леди Л. нашла замечательный пассаж, который, по ее мнению, можно было с успехом отнести к Арману и к некоторым из его товарищей. «Все так и должно было кончиться; потребность в красоте человеческой души должна была рано или поздно выйти за рамки искусства, чтобы приняться за саму жизнь. Поэтому перед нами – вдохновенные творцы, бросившиеся в погоню за приказавшим долго жить шедевром; с жизнью и обществом они начинают обращаться как с податливой массой. Представьте Пикассо или Брака, пытающихся построить новый мир по канонам своего искусства: все человечество обрабатывается, растирается, истязается – как лепная глина. Как раз это с нами и происходит. Остается узнать, откуда попадает в человеческую душу эта потребность в прекрасном: поистине, кто-то выбрал очень любопытное местечко, чтобы ее туда запихнуть».

Поначалу группка заговорщиков показалась Анетте довольно любезной. Но Арман решил, что для успеха их планов девушке важно сохранить анонимность, и запретил своей подруге приходить к нему, когда там находились товарищи. Анетта тотчас возненавидела их всеми фибрами своей души и не задумываясь выдала бы их полиции, если бы такой каприз не грозил бедой ее любовнику.

Так что большую часть времени она была теперь предоставлена сама себе и поэтому стала искать утешения в радостях, к которым имела доступ благодаря своему новому положению и

остаткам денег Альфонса Лекера. Она совершала длительные прогулки за городом, поигрывая зонтиком, не забывая напомнить кучеру ехать помедленнее, чтобы вдоволь насладиться забавным эффектом, который производил на одиноких прохожих ее проезд, довольная, что может позволить любоваться своей персоной, напуская на себя загадочный и немного томный вид, чтобы подогреть их любопытство. Она останавливалась перед романтическими виллами с итальянскими балконами, по которым, казалось, бродят тени всех исчезнувших любовников, она смотрела на элегантных дам и изысканных мужчин, игравших на лужайке в крокет, она посещала сад, подаренный городу великим герцогом Алексисом, где, чтобы вы не затерялись в лабиринте цветов, вам предоставляли гида, и ее охватывало властное желание быть богатой, иметь дом, свой выезд, свои сады, гулять среди цветов, которые принадлежали бы ей. Сказочное разнообразие цветов представлялось Анетте одной из величайших загадок мироздания. Она болтала с садовниками, выясняя названия растений, их вкусы, привычки, требования и капризы, и, закрыв глаза, пыталась распознать каждый цветок по его запаху; когда она попадала в точку, ей казалось, что она обрела друга на всю жизнь.

Часами она пропадала в салонах мод, примеряя туалеты, шляпки, играя боа из перьев или вуалеткой, помогавшими ей – такой юной – окружить себя тайной, в то время как продавщица восклицала: «Как вы прекрасны, мадемуазель!»

Около пяти вечера она всегда заходила к Рампелмейеру, где пила чай, прислушиваясь к неназойливому гулу французских, русских или немецких голосов вокруг себя, притворяясь, что никого не видит и ничего не слышит, кроме разве что «O sole mio»* в исполнении пугающего итальянца, прижимавшего к сердцу волосатую руку, в то время как его тощий приятель с длинными кудрями аккомпанировал ему на скрипке. У нее так хорошо получалось напускать на себя рассеянно-отсутствующий вид, и она уже добилась такого правдоподобия в скромности и такой уверенности в одиночестве, что ни один из тех, и молодых, и пожилых, мужчин, которые так падки на сладкое за чаем, не осмеливался никогда ни заговорить с ней, ни даже открыто на нее посмотреть. Лишь изредка она бросала быстрый и циничный взгляд, который словно стрела внезапно пронзал рафинированную и благопристойную атмосферу зала, а на лице на миг появлялось выражение такого лукавства, что становилось слышно, как звенят чашки, ложки и блюда в руках некоторых охотников в засаде. Но прежде чем эти дилетанты успевали задать себе кое-какие вопросы или убаюкать себя кое-какими надеждами, губы Анетты безжалостно уничтожали последний след исчезнувшей улыбки, ее длинные ресницы скромно опускались, лицо ее становилось отстраненным и непроницаемым, и в ушах у нее раздавались слова господина де Тюлли:

– Запомните, дитя мое, вы – далеко, вы недоступны. . . К вам нельзя подойти. . . Богиня одна на своем Олимпе. . . Никто не смеет. . . Ни один не предполагает. . . Вами могут лишь восхищаться на расстоянии и тщетно вздыхать. . . И тогда вы добьетесь от них всего, чего ни пожелаете.

И напоследок – игривый взгляд украдкой; но, прежде чем кто-либо из ее озадаченных обожателей решался поверить своим глазам и встать со стула, на лице ее не оставалось уже ничего, кроме удивительного совершенства черт, бесспорно аристократических, восхитительного, одухотворенного, тонкого носа и этих тяжелых ресниц, которые опускались словно под бременем скромности.

Ее часто видели у ювелиров, где она любила играть чудными камнями, производившими тогда фурор, – у Леди Л. ими до сих пор набиты шкатулки, – или примерять серьги, браслеты и броши, которые тогда не называли еще ужасным словом «клипсы», и такая у нее была сила

*«O, мое солнце» (ит.).

воли и чувство собственного достоинства – качества, приобретенные, кстати, совсем недавно, – что она ни разу ничего не украдала, хотя искушение было порой так велико, что слезы наверчивались у нее на глаза. Однако очень скоро она поняла, что истинная роскошь – не та, что содержится в камнях и произведениях искусства, и что рядом с живым великолепием форм, сияний и оттенков, которые дарил ей земля, самая красивая драгоценность казалась всего лишь дешевкой. Она обладала врожденным чувством подлинного. Она умела инстинктивно отличать изящное от всего, что просто бросается в глаза, настоящее благородство – от напускного высокомерия и в совершенстве уже владела этим загадочным искусством придавать туалетам свой собственный, едва уловимый шарм, который тотчас делал ее лучше всех одетой всюду, где бы она ни появлялась.

Именно во время своих прогулок по кантону она по-настоящему прониклась тем, что терпеливо преподавал ей господин де Тюлли. Веточка сирени была уроком грации; взирая на скользящих по глади озера лебедей, поглаживая лепестки цветка, она узнавала гораздо больше, чем из всех учебников хороших манер; она ни разу не пересекла сада без того, чтобы не приобрести еще немного легкости и уверенности, и вскоре, когда она сидела у Рампелмейера, слушая неназойливый лепет полиглотов, или проходила на вернисаже перед картинами, она начала вызывать восхищение не столько своей красотой, сколько чем-то природным, что сразу замечают истинные аристократы: необыкновенной легкостью, уверенностью, неподражаемостью – всеми качествами, которые нельзя приобрести и, которые даются лишь от рождения. «Природное изящество», – понимающе переглядываясь, говорили в своем кругу эти знатоки голубой крови. Много лет спустя, вспоминая то первое впечатление, которое она произвела на своих благородных почитателей, Леди Л. еще, бывало, запрокидывала назад свою хорошенькую светлую головку и разражалась веселым смехом, который всегда немного сбивал с толку ее окружение, потому что в его беззаботности заключался поистине целый мир; с особым удовольствием шептались о том, что в характере этой знатной дамы есть нечто аморальное, даже какой-то нигилизм – черта, кстати, довольно часто встречающаяся у настоящих сеньоров, которые могут позволить себе все и которые вследствие многих веков привилегий зачастую становятся слегка эксцентричными и совершенно непочтительными. И когда художники и скульпторы приходили в восторг от ее стройной фигуры, этого молниеносно уловимого в малейшем ее движении подлинного стиля, она им важно объясняла:

– Все это приобретается в общении с цветами.

Она полюбила музыку. Очень скоро она стала отличать подлинное искусство от виртуозной техники, и, сидя в концертном зале, с полузакрытыми глазами, с улыбкой на губах, она вся отдавалась во власть очарованию, сильнее которого было лишь очарование любви. Но у нее на всю жизнь осталась слабость к танцам под аккордеон, что считалось тогда верхом вульгарности: прошло немало лет, прежде чем Леди Л. смогла помочь этой девушке из простонародья войти в гостиные.

Глава VII

Группа экстремистов, объединившихся в Женеве вокруг Армана Дени, находилась тогда в полном противоборстве с революционной моралью эпохи. На подпольном собрании в Базеле в январе 1890 года они выступили с резкой критикой Карла Маркса, чье учение, на их взгляд, прямо вело к полному порабощению человека государством; они отвергли всякую возможность сотрудничества с английскими социалистами, которых окрестили «блеющими фабианистами»*, и окончательно порвали с Кропоткиным и Федухиным, сочтя их самих слишком «белыми перчатками»**. «Комитет за Освобождение» – название, принятое коллегиальным руководством движения «перманентной революции» после раскола в Базеле, – ощутил нехватку средств в тот самый момент, когда его проекты и план действий стали особенно честлюбивыми. Нападение на почтовый фургон в Лозанне, успешно осуществленное Арманом и Лекером, ограбление ювелирной лавки Максимена в Женеве, совершенное Арманом и Шлессером в начале февраля 1890 года, позволили им организовать и вооружить полдюжины боевых групп, которые перешли французскую границу в начале весны. Половина личного состава тут же испарилась с деньгами, остальные напомнили о себе лишь провалом манифестации в Клиши 1 мая 1891 года, где, несмотря на небольшую перестрелку, не было ни убитых, ни раненых. Буржуазное общество, казалось, поглощает анархистов, как промокательная бумага впитывает чернила, и поэтому приходилось постоянно находить новых членов, что в свою очередь требовало организационной и воспитательной работы, медлительность которой не отвечала ни темпераменту Армана Дени, ни глубоким убеждениям, приведшим его в Базель требовать объявления «чрезвычайного положения в мире» для спасения человечества от нависшей над ним угрозы колониальных войн и властолюбивых чаяний правителей.

Легче всего было вербовать наемников в преступных кругах – миссия, которой некий Кеннигштейн, по прозвищу Равашоль, был облечен в Париже. Арман подсчитал, что, если бы те несколько сотен убийств с целью ограбления, в среднем совершаемых в столице из года в год, можно было заменить убийствами политическими, капиталистическое общество лишилось бы своих опор и рухнуло бы после первого же толчка народных масс***. Однако такой способ действий был чересчур дорогостоящим: если подлинные идеалисты не стоили практически ничего, вербовка профессионалов в специфических кругах требовала значительных сумм. Арман Дени, после долгих колебаний, – а сегодня Леди Л. казалось, что она, сама того не зная, была тогда в двух шагах от победы, – решил в итоге использовать Анетту с той же целью, с какой он ее завербовал полтора года назад. Вот почему обаятельная графиня де Камознс ездила с виллы на виллу, попивала чай, играла в крокет, слушала музыку, бросала вокруг себя задумчивые взгляды и часто вставала перед дилеммой, жилище кого из его любезных хозяев выбрать, ибо многие из них, казалось, вполне заслуживали быть ограбленными.

Установить необходимые светские контакты в добропорядочном обществе она смогла благодаря посредничеству некоего барона де Берена. Барон, человек высочайшей культуры и редкого остроумия, был одним из страдальцев, которых Альфонс Лекер долгие годы держал на крючке, безжалостно эксплуатируя хорошо известный надлом в душе аристократа, такого

* Арман Дени. «Пасторальная иллюзия» в номере «Свободного человека», 2 января, 1890. (Примеч. автора.)

** Там же. (Примеч. автора.)

*** Арман Дени, «Преступники и мы», статья в номере «Свободного человека», 14 ноября, 1889. (Примеч. автора.)

чистокровного по природе и такого рафинированного в своих вкусах. Аристократизм, однако, не мешал барону смаковать некоторые удовольствия – без которых он никак не мог обойтись – лишь в мерзости и унижении, стоя на коленях у края бездны, и, по возможности, в неотвратимости смертельной угрозы. Сам Фрейд, вероятно, не смог бы спасти это хрупкое существо с седыми волосами от непреодолимой тяги к повиновению во тьме, которую испытывал порочный и смятенный ребенок, скрывавшийся во взрослом и требовавший наказания. И если этому отчаянному поборнику апашей, кутавшемуся в свою длинную шубу, с моноклем, сверкавшим в свете газовых горелок на его бледном, испуганном и восхищенном лице, не перерезали горло в ходе его ночных погружений в мерзость, то исключительно благодаря покровительству Лекера. Он промотал все свое состояние; опекаемый судебным советником, он уже несколько лет приносил бывшему владельцу «Шабанэ» пользу лишь как его агент в игорных клубах и в кругах золотой молодежи благородного происхождения, общества которой «милорд» Лекер так рьяно искал, прежде чем открыл в себе призвание бунтаря. Итак, именно де Верен сыграл для Анетты роль проводника в богатый, праздный и вежливо скупающий высший свет Женевы. Специально для этого Лекер и вызвал его в Швейцарию. Приехав туда против своей воли, бедняга тотчас заболел: он не переносил чистого воздуха Швейцарии, от которого у него появились приступы астмы. Как только его помещали в здоровую обстановку, он начинал задыхаться. «Я ненавижу природу», – грустно шептал он Анетте, лежа в ее апартаментах в гостинице «Берг», все окна которых были закрыты, а шторы задернуты. Однако не подчиниться он не мог. Он мужественно сражался со светом, с весной, с ветром, дувшим с глетчеров и несшим с собой снег, потерял аппетит, захирел, стал задыхаться, но с задачей своей справился, находя кое-какую моральную поддержку у кучеров. Ему понадобилось несколько недель на то, чтобы прочно водворить в свет графиню де Камозэнс, у которой как раз закончился траур, затем он спешно вернулся в Париж и очень скоро выздоровел. Но над трущобами, где он чересчур рьяно взялся за лечение, уже не довлела тяжелая длань Лекера. Спустя несколько месяцев после возвращения тело барона нашли в сточной канаве: его лицо так и застыло в выражении сладострастного ужаса.

Итак, Анетта смогла без труда смешаться с этими роскошными миграционными птицами, которые, в зависимости от времени года, перелетали из одной страны в другую, лечились целебными водами в Баден-Бадене или Киссингене, устраивали пикники на берегах радующих глаз озер или фотографировались с альпенштоком в руке у края глетчера, в то время как их сыновья и дочери, под присмотром немецких воспитателей или английских гувернанток, писали акварелью пейзажи на манер Эдварда Лира, читали «Маленького лорда Фаунтлероя» или предавались мечтам за роялем. Швейцария была в те времена любимым местом встреч этих осторожных путешественников, которых даже Монблан повергал в трепет»; викторианская эпоха с ее плюшевым комфортом, маленькими чайничками, альбомами и засушенными меж страниц интимных дневников цветочками расставила свои аванпосты по берегам и в хорошо ухоженных парках озера Комо, Стрезы и Интерлакена.

Однако именно среди этих праздношатающихся, единственной страстью которых, казалось, были благопристойность и порядочность, Анетта познакомилась с одним из самых эксцентричных, самых образованных и самых умных людей своего времени. Эдвард Лир, чьим щедрым покровителем он был довольно долго, никогда не называл его иначе как «блаженный бонза». В «Алисе в Стране чудес» Льюис Кэрролл сделал его королем, чьи владения находились по другую сторону зеркала, и в своих письмах к Дадли Пейдж дал ему следующее описание: «Представьте худого будду с абсолютно бритым черепом, с улыбкой, которую не может стереть ничто, веки без ресниц на маленьких глазках, напоминающих бриллианты чистой воды, губы, казалось, сохранившие в своем сладострастном изгибе вкус всех изысканных блюд, к

которым они прикасались, и вы ничего не будете знать об этом человеке, ибо он остается невидимым под этой незабываемой маской; иногда начинает казаться, что имеешь дело с каменной статуей, в которую вселилось существо, удивительным образом радуясь тому, что видит вокруг себя, и, в частности, в вас, тем самым вызывая у собеседника чувство, которое едва ли можно назвать приятным».

Герцогу Глендейлу – а для друзей «Дики» – было тогда чуть больше пятидесяти, и уже на протяжении многих лет он с успехом подтверждал репутацию человека, вызывавшего особую ненависть у королевы Виктории. Недруги считали его в корне испорченным, друзья видели в нем воплощение мудрости. Всем были хорошо известны его взбалмошность и склонность к авантюрам; такой характер он унаследовал от отца, который сопровождал лорда Байрона во время его роковой экспедиции в Грецию, но вовсе не из-за того, что его так волновал вопрос независимости греков, – он считал, что красота пейзажа, общество поэта и возможность присвоить несколько редких предметов античности стоили того, чтобы стронуться с места. После смерти Байрона он продолжал сражаться рядом с Ипсиланти и не раз рисковал жизнью, отбивая высоту Гелиос у турецкой кавалерии; когда была одержана победа, он разграбил храм и с трофеями торжественно вернулся в Англию.

Сын его женился на цыганке – к великому возмущению молодой королевы и принца-консорта; после смерти жены он уехал в Испанию и несколько лет жил в племени, к которому она принадлежала. Оскорбленные английские туристы узнавали его на улицах Севильи, с попугаем на плече, аккомпанировавшего на тамбурине номеру своей дрессированной обезьянки. Затем он на несколько лет исчез на Дальнем Востоке, откуда в один прекрасный день вернулся с бритым черепом и в оранжевом одеянии буддистских жрецов. Ему предложили уехать из Англии после того, как он попытался склонить к буддизму архиепископа Кентерберийского и осудил псовую охоту на лис в письме, посланном в «Таймс» и написанном ироничным и возмущенным тоном, который могла бы одобрить разве что лисица. Он уехал жить в Италию и почти не напоминал о себе лишь потому, что посещал круги, о которых неприлично было даже говорить; бездарные живописцы, социалисты, анархисты – он не гнушался ничем. Тем не менее любовь к искусству стала в конце концов доминирующей силой его жизни. Безошибочность его вкуса и меткость суждений стали легендарными среди торговцев картинами и коллекционеров: в искусстве он видел протест человека против своего существования, против бренности своей судьбы. Его терпимость, его улыбчивую доброжелательность одни считали формой аристократического безразличия и даже презрения, другие – свойством натуры, которую чрезмерная чувствительность и своего рода нескончаемое возмущение побуждали укрываться в равнодушии и иронии; во всяком случае, его отказ от условностей и викторианских норм поведения сделал его жизнь в Англии практически невозможной.

Он заинтересовался Анеттой после первой же их встречи на одном из раутов у посла России графа Родендорфа. Она восхитила его своей жизнерадостной и белокурой красотой, но, несомненно, также и заинтриговала некоторыми странностями в поведении. Анетта была еще вынуждена часто молчать и постоянно следить за собой: одно жаргонное словечко, резковатый жест, какой-нибудь слишком очевидный ляп – и злые языки уже не остановишь; она немного нервничала всякий раз, когда Глендейл пристально на нее смотрел своими слегка раскосыми глазами, с веками без ресниц, с едва обозначенной, постоянно застывшей в уголках рта улыбкой; выдающиеся скулы и невозмутимость черт еще больше подчеркивали странно восточный характер лица. Он стал искать ее общества, и в скором времени они начали встречаться чуть ли не каждый день, хотя она никогда не чувствовала себя легко рядом с ним: у него была такая манера останавливать взгляд и мило улыбаться, от которой у нее возникало ощущение, что она ответила, даже не отдавая себе в этом отчета, на все его вопросы.

Но он был обаятелен, весел и явно влюблен в нее. А она и представить даже не могла, что человек может вести такой образ жизни. С эскортом французских и китайских поваров, итальянских мажордомов, чистокровнейших лошадей, ирландских тренеров, поэтов, музыкантов, со своим спецпоездом, всегда готовым доставить его из одного конца Европы в другой; со своими конюшнями скаковых лошадей и сворами охотничьих собак, с коллекциями картин и предметов искусства, домами и садами, он, казалось, не столько наслаждался своими богатствами и привилегиями, сколько посмеивался над ними, над собой, над обществом, которое его терпело, и пародировал самым своим существованием и своим пышным образом жизни все, что сам собою представлял, и все, что делало его возможным. «Агент-provokator» – такое определение дал он себе однажды в разговоре с Анеттой, но ей надо было еще стать Леди Л., чтобы действительно понять, что имел в виду этот террорист. Часы, что проводила она в его обществе, очень быстро наложили на нее отпечаток; она, как бы сама того не сознавая, поддавалась воздействию некой заразной болезни, которая мало-помалу преобразила ее. Его манера смотреть на вещи, этот ироничный скептицизм, который маскировал глубокую любовь к жизни, это полное отсутствие предрассудков, доходившее до терпимой и доброжелательной аморальности, производили на нее неотразимое впечатление; очень скоро она решила, что именно такой облик подошел бы ей лучше всего, и стала пристальнее вглядываться в Дики, пытаясь разгадать секрет того искусства, что позволяет вам держать мир на расстоянии только за счет того, как вы на него смотрите. Он никогда не интересовался ее прошлым, и, хотя проявляемая им сдержанность в стремлении не касаться этой темы уже сама по себе была немного ироничным признаком некоторого недоверия, а возможно, и подозрения, она была ему за это благодарна и в скором времени уже не испытывала в его присутствии ни смущения, ни настороженности. Когда она делала неверный шаг, когда у нее вырывалось жаргонное словцо или в ее интонации и речи вдруг появлялись следы просторечного выговора, он умел этого не замечать. Несмотря на то что его общество было ей приятно, она, ни на секунду не забывая о своей миссии, составила подробнейший план виллы Глендейла, с точным указанием местонахождения его сокровищ и тщательно пронумерованным содержимым каждой витрины. Она начертила этот план постепенно, во время сеансов рисования, которые они устраивали почти ежедневно на террасе, возвышавшейся над парком и Женевским озером; горы на французском берегу закрывали горизонт, и из порта нет-нет да выпархивали, словно бабочки, парусники. Глендейл рисовал ее портрет, в то время как Анетта, положив на колени лист картона, с немного усталым видом прилежно воспроизводила на бумаге мужественные формы статуи Аполлона, которая украшала лестницу террасы.

– Дики, что это за чудесные фигурки на третьем этаже справа в коридоре, прямо у входа в библиотеку?

Зажмурив один глаз, Глендейл измерил ее карандашом, который держал в вытянутой руке.

– Вы правы, что обратили на них внимание. Это египетские скарабеи. Они датируются третьим тысячелетием и были украдены специально для меня из гробницы одного фараона. Видите ли, я содержу постоянную группу превосходных археологов, которые воруют для меня в Египте. Они как раз обнаружили новое погребение и сейчас раскапывают его за мой счет. Я из тех, кого называют меценатами.

– А большую ли ценность представляют эти восхитительные фигурки?

– Огромную. Они уникальны.

Анетта приподняла Аполлона и пометила на плане месторасположение витрины. На полях она написала: «Египетские золотые скарабеи, много денег. Не упустить из виду».

– Не исключено, что весной я сам поеду в Египет наблюдать за раскопками, – сказал Глендейл. – Не хотите составить мне компанию?

– Это было бы чудесно. Но скажите, Дики, за этих скарабеев... если бы вы их продали, сколько бы вы за них получили? Я спрашиваю из чистого любопытства, конечно.

– Конечно. Видите ли... Лувр давал мне за них десять тысяч фунтов стерлингов, а кайзер, гостившие у меня в прошлом году, предложил вдвое больше, но не получил их.

– Двадцать тысяч фунтов стерлингов? – спросила Анетта, понижая голос, поскольку еще питала большое уважение к деньгам. – Вы считаете, кайзер действительно заплатил бы столько, если бы их ему предложили?

– Не колеблясь. Я бы даже не удивился, если бы о» объявил войну Англии или Швейцарии только затем, чтобы завладеть моими скарабеями... Он тоже меценат.

Анетта пометила сумму вопросительным знаком и тщательно занесла имя возможного покупателя – императора Германии. Это был интересный рынок сбыта, но он, разумеется, ставил нравственную проблему, ибо друзьям Армана было бы все-таки сложно вступить в переговоры с кайзером, которого они ненавидели. У нее вдруг мелькнула мысль, не проще ли было бы доверить тайну своему новому другу: Дики так понятлив, быть может, он даже помог бы им ограбить самого себя. Безграничное, немного детское восхищение, которое он ей внушал, было таким, что она не смогла удержаться и призналась в этом Арману; возмущению молодого анархиста не было границ.

– Он подлец. Единственное, что можно сказать в его пользу, так это то, что его подлость настолько очевидна, что он работает, в некотором роде, на нас: он ускоряет революционный процесс. Эгоистичный сибарит, заботящийся лишь о собственном удовольствии. Нет ничего отвратительнее этого равнодушного либерализма, который стремится утвердить цинизм и скептицизм как одну из форм мудрости... И он пускает золотую пыль искусства себе в глаза, чтобы не видеть окружающие его уродство и нищету...

Она сделала попытку возразить:

– Но он так добр и так великодушен. Он помогает выжить десяткам художников, писателей, музыкантов... Без него они бы умерли с голоду или ничего бы не создали.

– О, в этом я не сомневаюсь, – сказал Арман и повел плечами. – Художник всегда был сообщником правящих классов» и его связи с ними продолжают крепнуть: людей, выходящих из церквей» хотят послать за очередной порцией опиума в музеи, и все по тем же причинам. Когда я слышу из уст буржуа слово «культура», меня так и подмывает схватиться за пистолет*. Нашим поэтам и музыкантам платят за то, что они поют колыбельные народу, убаюкивая его, художникам – за то, что они прикрывают красивой вуалью реальные факты действительности. Не может быть красоты без справедливости, искусства – без достойных человека условий существования. Глендейл – реакционер, распутник, в этом все дело. Народ растопчет его, оставив лишь его клиническое описание в учебниках истории, дабы избежать повторения зла.

Они прогуливались в поле среди нарциссов на склоне горы Пелерен. Арман возвращался с собрания студентов; в руке он держал фуражку, полную вишен, которых они нарвали. Дневной свет и ветер играли в его волосах желтовато-тигровыми отблесками; коренастая фигура, широкие плечи, сильные руки придавали ему тот несколько грубоватый вид, что так точно схвачен в знаменитом рисунке из «Папаши Пенара». Леди Л. вырезала рисунок и наклеила его на изображение святого Кирилла на русской иконе, которая висела у нее в павильоне. Огромное озеро с его городишками, голубые горы, отдаленный звон колокольчиков невидимого стада, кристальная чистота звучания которых, казалось, воспевают чистоту воздуха и снежных вершин, – все это юное лето, так хорошо умевшее поворачиваться спиной к страда-

*Арман Дени. Письмо, опубликованное в «Воспоминаниях» Скаволи в 1904 году – следовательно, за тридцать три года до почти идентичного заявления Геббельса. (Примеч. автора.)

ниям другого и к уродству» несомненно, также было реакционером-распутником, однако его язык Анетта воспринимала лучше, чем язык Армана.

– Глендейл принадлежит к обреченному классу, единственной целью которого в жизни является то, что они называют «святым эгоизмом».

Анетта вздохнула: она не знала ничего более святого. И не потому, что ей претила сама идея ограбления коллекций Дики» совсем напротив, но она считала поистине глупым тратить затем такое богатство на взрывы мостов и эшелонов» убийства министров, печатание листовок и кормление «товарищей», этих товарищей, которые никогда не слушали музыку, не любовались цветком, не оборачивались вслед красивой женщине.

– Конечно, я сделаю все, что ты захочешь, но... Арман... Нельзя ли хотя бы раз оставить деньги себе, отправиться в путешествие, посмотреть мир, быть счастливыми вместе? Почему ты всегда все отдаешь друзьям? Они же ни на что не годны! Только и могут, что болтать да швырять деньги на ветер. Как этот недотепа Ковальский. Он только и сумел, что взорвать собственную мамашу. Ну разве это не смешно?

– Он все делал по инструкции. Такой досадный случай может произойти с каждым.

– Дорогой, давай ограбим этого добряка Дики, но давай оставим хотя бы часть денег для себя. Мне так хочется попутешествовать! Индия, Турция... Только один год, Арман. Потом мы вернемся и переделаем мир. Но прежде я хотела бы его увидеть, пока он еще так прекрасен...

Он смотрел на нее с удивлением: уверенная в себе, элегантная, очаровательная женщина, поигрывая зонтиком, прогуливающаяся в поле среди нарциссов. Как далеко она ушла от той взбалмошной потрепанной девицы, которую он подобрал на улице полтора года назад. Он остановился среди цветов, доходивших ему до колен.

– Послушай меня.

Она повернулась к нему, увидела его посуровевшее, почти враждебное лицо, сдвинутые брови и глаза, неизменно яростные, что всегда проявлялось во внезапной неподвижности взгляда. Она схватила его за руку:

– Прости меня. В тебе вся моя жизнь, Арман. Я сделаю все, что ты захочешь. Я легкомысленна, захмелела от счастья и сама не знаю, что говорю. И потом, я целые дни провожу с Дики, которому на все наплевать, и я просто уже не знаю, на каком я свете. Я уверена только в том, что люблю тебя, как никакая другая женщина никогда не любила.

Арман так сильно сжал ее запястье, что она едва не вскрикнула от боли:

– Послушай меня, Анетта. В тебе есть суровость, и это вполне понятно: ты начала страдать так рано и так глубоко, что у тебя осталось только презрение к страданию, ты больше не хочешь о нем и слышать. Ты прошла такую школу невзгод, что в итоге прониклась ненавистью не только к несчастью, но также и к несчастным. Это хорошо известная защитная реакция, впрочем, именно так буржуазия, вышедшая, кстати, из народа, ожесточилась и окопалась в своей ожесточенности... Но есть одно, чего я не понимаю. Ты говоришь, что любишь меня. Как можешь ты кого-то любить, не любя его таким, каков он есть на самом деле? Как можешь ты любить меня и в то же время просить меня полностью измениться, стать кем-то другим? Если бы я отказался от своего революционного призвания, от меня ничего бы не осталось: ты не можешь одновременно требовать, чтобы я отказался от того, каков я есть, и оставался тем, кого ты любишь. Ты знаешь, быть в моей шкуре нелегко. Нелегко быть Арманом Дени. Очень ненадежно. Бывает, просыпаюсь утром и удивляюсь, что ты еще здесь. Тебе следовало бы быть моей силой, а не пытаться подточить мою волю, мои убеждения. Тебе следовало бы...

Он умолк: в ее глазах стояли слезы. Он смягчился:

– Я могу сказать только одно: если бы человек всегда уступал тому» что есть в нем наиболее человеческого, он бы давно перестал быть человеком.

Глава VIII

Вернувшись двумя днями позже, Анетта не без досады отметила про себя, что коллекция золотых скарабеев исчезла. Она нахмурила брови и довольно сухо поинтересовалась, что с ней стало; Дики взглянул на пустую витрину и с невиннейшим видом пояснил:

– О! Я убрал их в сейф моего банка, на некоторое время. Недавно в нашем районе было совершено ограбление, и я бы сильно огорчился, если бы у меня украли эти редчайшие экземпляры. Новые владельцы могли бы переплавить их в золото. Да простит меня Бог!

Анетта хотела сделать равнодушное лицо, как вдруг ей показалось, что Дики о чем-то догадывается. Это было очень, очень неприятно. Сама мысль, что в голове ее друга могло зародиться подозрение, раздражала и даже возмущала ее. Воистину, это было верхом неприличия. Всю неделю она дулась. И тем не менее Глендейл как будто привязывался к ней все больше и больше. Он постоянно искал ее общества. Он предложил себя в качестве преподавателя английского, и, хотя ей так никогда и не удалось избавиться от своего ярко выраженного парижского акцента, она быстро добилась успеха и вскоре заговорила на этом языке с необычайной легкостью. Их повсюду видели вместе: на концертах, балах, пикниках, плавающими по озеру на яхте или выезжающими в карете на длительные прогулки за город.

Как раз во время одной из таких поездок Анетта, уже возвращаясь домой, сделала короткую, но волнующую остановку в церкви, где она зажгла свечу и из-за этого едва не опоздала к началу покушения на Михаила Болгарского. На следующий день она застала Дики за игрой в крокет с русским послом графом Родендорфом; разумеется, все говорили только об убийстве, все были страшно напуганы. Швейцарские власти, обеспокоенные тем, что терроризм может отрицательно сказаться на индустрии туризма в стране, установили систематический контроль над политэмигрантами, отчего положение Армана и его друзей резко осложнилось. Французское правительство, в свою очередь встревоженное размахом анархистского движения – взрыв в казарме Лобо 18 марта 1891 года произошел лишь несколько дней спустя после взрыва на бульваре Сен-Жермен в доме у советника Бенуа, – предпринимало решительные шаги по выявлению главных экстремистских организаций в Париже. Шомартен, Беала, Симон и сам Равашоль, правая рука Альфонса Лекера, были арестованы и преданы суду. В Базеле собрались лидеры «Черного Интернационала» – черным его прозвали газетчики, – и Арман, в который уже раз, сумел навязать свою точку зрения: никакой передышки, наоборот, необходимо усилить террористическую деятельность, особенно в Париже, с тем чтобы нагнать страху, надавить на присяжных, призванных судить арестованных товарищей, и одновременно доказать общественности, что полиция бессильна и что движение вовсе не пошло на убыль. Было также принято предложение Беляева, русского, покинуть на некоторое время Швейцарию и перевести штаб «Комитета за освобождение» в Италию. Все это, однако, требовало средств, которых боевые группы практически не имели: нападение на банк «Креди Фонсье» в Брюсселе завершилось полным провалом и арестом Кобелева. Возвратившись в Женеву, Арман объявил Анетте о своем намерении ограбить виллу графа Родендорфа, на которую она уже давно обратила его внимание.

Посол России походил на неуклюжего медведя-кутилу, проматывавшего в игорных домах баснословные суммы, что, однако, не мешало ему вести экстравагантный образ жизни и устраивать ужины на сто персон, подавая кушанья на золотых сервизах. Он по уши влюбился в юную госпожу де Камозэн: он рыдал, валяясь у нее в ногах, после того как она отказалась

выйти за него замуж, грозился размозжить себе голову, в связи с чем Глендейл говорил, что «этим он оказал бы первую реальную услугу своей стране». Было решено, что Арман, Альфонс Лекер и жокей проникнут на виллу, пока Анетта будет вместе со своим воздыхателем на балете. К несчастью, позволив себе перед спектаклем некоторые излишества в еде он почувствовал в ложе недомогание уже в начале представления, и друзьям пришлось отвезти его домой. Не на шутку испугавшись, Анетта поспешно возвратилась в гостиницу. В пути Родендорф почувствовал себя лучше и хотел вернуться в театр, однако его друзья, русский генерал Добринский и один из атташе германского посольства, уговорили его ехать на виллу.

Они обнаружили дверь открытой, слуг связанными и с кляпами во рту; внушительных размеров мужчина, с сигарой в зубах и с зажатым в кулаке пистолетом, стоял в вестибюле, в то время как жокей набивал золотой посудой мешки. Арман в эту минуту находился на втором этаже и, приставив дуло пистолета к затылку секретаря, предлагал тому открыть сейф. Лекер мгновенно отреагировал на это вторжение, выстрелив в Родендорфа и ранив его в руку. Арман бросился к лестнице, и, хотя троица и смогла беспрепятственно покинуть виллу, преследуемая лишь неистовыми воплями русского, полиция разослала повсюду их точные приметы, а посол пообещал награду в десять тысяч франков золотом каждому, кто окажет содействие в поимке преступников. Швейцарцы, возмущенные таким пренебрежением к их гостеприимству, подняли на ноги всех осведомителей, и троица оказалась почти в безнадежном положении. Необыкновенная красота Армана, которого газеты незамедлительно окрестили – одни «черным ангелом», другие «белым демоном» – гигантский рост Лекера в разительном контрасте с крошечной фигуркой жокея, – все это делало их легко узнаваемыми: о том, чтобы ускользнуть незаметно, не могло быть и речи. Они окопались в мастерской папаши Ланюса, уважаемого часовщика из Берга, щеголявшего в кофейнях у Женевского озера великолепными белыми усами и трубкой тихого отца семейства, у которого, однако, после его ареста полгода спустя было обнаружено такое количество бомб, что ими можно было уничтожить целый квартал. Производя обыск в квартире Армана, расположенной в старом городе, полиция наткнулась на группу русских ссыльных, разглагольствовавших вокруг самовара среди чемоданов, набитых анархистской литературой. Арест Армана и его сообщников теперь казался делом лишь нескольких часов.

На выручку к ним пришла Анетта.

Глава IX

Окна ее номера выходили на озеро. Ночь, казалось, никогда не кончится. Анетта прислушивалась к малейшему звуку шагов на улице, к проезжавшим внизу фиакрам, к причаливавшим к берегу рыбацким лодкам. Она знала, что Арману угрожает смертельная опасность, что без борьбы он не сдастся, однако не сомневалась она также и в том, что он жив и даже не ранен: это была физическая убежденность, она ощущала ее всем своим нутром, как если бы тела их составляли одно целое.

Только в девятом часу в дверь постучала горничная и сообщила, что ее хочет видеть какой-то часовщик.

Анетта выслушала рассказ папаши Ланюса, лихорадочно шагая взад и вперед по гостиной, то и дело чертыхаясь сквозь зубы, да так непристойно, что явно ввела в смущение старого идеалиста, привыкшего к благородным мыслям и возвышенным речам. Мужество вернулось к Анетте, и она чувствовала, как в ней пробуждаются вкус к борьбе и воля к достижению цели, подавить которые не могло уже ничто. Впервые она начинала также сознавать двойственность чувства, так неудержимо толкавшего ее к Арману: почти материнская нежность, потребность отдавать себя всю, без остатка, но также и потребность обладать, своего рода эгоизм, властный и тиранический, но готовый на любые жертвы и уступки; и слабость, в которой она, однако, черпала львиную долю своей силы и энергии. Один-единственный человек мог протянуть ей руку помощи, но сама дерзость такого шага требовала крайней осторожности, изворотливости и безукоризненной легкости; необходимо хорошо сыграть роль, растрогать, соблазнить, развлечь. Ложь должна очаровывать, глубокое чувство – смахивать на каприз; главное – найти интонацию непринужденного превосходства, которая заставляет саму жизнь входить следом за вами в гостиную, да еще так, словно она – хорошо выдрессированный пудель. В общем, ей предстоит сдать самый настоящий экзамен для вступления в свет. Полчаса спустя она была у Глендейла.

Он сидел на террасе и завтракал вместе с туканом, устроившимся у него на плече. Это была черная птица с мощным канареечно-желтым клювом, таким же огромным, как и она сама. Дики привез его из путешествия по Южной Америке и прекрасно с ним ладил. На столе красовалась великолепно отделанная золотом и бриллиантами шкатулка, и, когда он открыл ее, чтобы предложить Анетте сигарету, шкатулка сыграла баварский мотивчик. В утренней дымке Дики казался постаревшим, а кожа посеревшей. Печать восточной мудрости лежала на его лице, и Анетта заметила две тонкие складки в уголках рта, которые, должно быть, часто сходили за улыбку. На нем был халат из дамасского шелка и шлепанцы. «Сколько ему может быть лет?» – гадала Анетта. Она села, взяла сигарету, подождала, пока выйдет прислуга.

– Дики, со мной случилось нечто ужасное.

– Это значит, что вы, судя по всему, влюбились – и влюбились по уши. А когда влюбляются по уши – добра не жди.

– Дики, поверьте, мне не до шуток.

– Поздравляю, малыш. Это и вправду очень вкусно. Я могу вам чем-то помочь?

– О, Дики! Вы не представляете, как все сложно.

– Помилуйте, да кто же он? Извозчик, рыбак? Лакей? Или, Боже упаси, поэт?

Она принялась рассказывать ему свою историю. Конечно, не все, а только то, что сделало бы ложь похожей на правду. Она полностью доверяла Дики, но была еще недостаточно уверена в себе и немного стыдилась своего прошлого. Она не стала еще той знатной дамой, которая может позволить себе роскошь признаться в том, что вышла из простонародья. Она тщательно продумала историю и надлежащим образом изложила ее, великолепно скрывая свою нервозность. Впрочем, Дики, похоже, принял все за чистую монету. Единственное, что немного смущало Анетту во время рассказа, это тукан. Птица пристально, с выражением крайнего сарказма смотрела на нее, наклонив голову набок: Анетту не покидало ощущение, что еще немного, и тукан начнет ухмыляться.

Однажды вечером она расчесывала волосы в своих апартаментах, как вдруг заметила странное шевеление красной бархатной портьеры, хотя окно было закрыто. Анетта потянулась к колокольчику, чтобы вызвать горничную, но какой-то инстинкт, какое-то предчувствие удержало ее. Она встала, подошла к окну и. . .

– В жизни не видела я такого благородного лица, такого гордого взгляда, такой мужественной красоты. . . В рубашке, с пистолетом в руке, он выглядел в высшей степени романтично. Он чем-то походил на лорда Байрона, что висит у вас в библиотеке. Казалось, еще немного, и сердце мое остановится. Я сразу поняла, что он не грабитель и не станет вести себя вульгарно. Что мысли, скрывающиеся за этим бледным челом и ясным взором, благородны и вдохновенны, и другими быть не могут. . .

Глендейл, намазывавший ломтик хлеба маслом, поморщился.

– Все же это поразительно, – сказал он с легким раздражением. – Всякий раз, когда женщина испытывает к мужчине физическое влечение, она утверждает, что ее пленила его душа, или, вернее – будем современны, – его интеллект. Даже если он не успел произнести ни слова, умного или глупого, – как, вероятно, в вашем случае, – не говоря уже о том, чтобы открыть вам свою душу. . . Путать физическое влечение с духовной любовью – это то же, что смешивать политику и идеализм: очень скверная привычка. Ну и что же случилось потом? Я имею в виду, кроме того. . . того обычного, что, надо думать, случилось и чем вы, похоже, остались чрезвычайно довольны.

– Дики, прошу вас, не будьте циничны. Я этого не выношу. Я забинтовала его раны. . . О! Да! Я забыла вам сказать, что он был ранен.

– Не так уж серьезно, я полагаю, – усмехнулся Глендейл. – Ровно настолько, чтобы это сделало его неотразимым.

– Затем я несколько дней прятала его у себя в номере. Мы безумно полюбили друг друга. Потом я с неделю не видела его. И сейчас я так боюсь, чтобы он опять не сотворил какой-нибудь глупости.

– . . . К примеру, ограбил дом этого идиота Родендорфа.

– Откуда вы знаете?

– Из газет.

– Дики, я хотела бы ему помочь.

– Что же вам все-таки известно о нем? Кроме того, что он неотразим?

– Я думаю, что он, к несчастью, анархист.

– Неужели?

– Впрочем, он, кажется, очень знаменит. Его зовут Арман Дени. Вы никогда не слышали о нем?

Впервые за все время разговора Глендейл выразил некоторое удивление и даже слегка оживился.

– Еще бы. Это весьма известный поэт-романтик.

– Ну что вы, Дики, он вовсе не поэт! Он активист и общественный реформатор. Он хочет дать справедливость, свободу и... ну, то есть все всем людям земли.

– Вот я и говорю – поэт-романтик, – повторил Глендейл. – Пятьдесят лет назад такой человек, борясь за независимость Греции, умер бы от поноса, как Байрон. Нет ничего более трогательного, чем эти последние обломки романтической эпохи, которые продолжает выбрасывать на наш берег прошлое, тогда как в дверь уже стучится двадцатый век. Мой друг Карл Маркс однажды очень метко охарактеризовал последователей Кропоткина и Бакунина: «Утописты, принимающие свое великодушие и изысканность своих гуманных чувств за социальную доктрину. К социальным проблемам эти люди подходят с тем изяществом, с тем благородством, с той душевной добротой, которую скорее можно объяснить поэтическим вдохновением, нежели знанием общественных наук... Они, словно художник перед холстом, устраиваются перед человечеством, думая и гадая, как сделать из него шедевр. Они мечут свои бомбы, как Виктор Гюго – свои поэтические молнии, только с гораздо меньшим эффектом». Из этого, правда, вовсе не следует, что ваш молодой человек непременно должен быть плохим любовником, наоборот.

Анетта подняла на него умоляющий взгляд:

– Но, Дики, что же мне делать? Как помочь ему? За ним охотится вся швейцарская полиция...

– Очень романтично, – заметил Глендейл, допивая кофе. – Ну, в той мере, в какой что-либо может быть романтичным в Швейцарии. Кстати, почему бы вам не совершить маленькое путешествие в Италию вместе со своим трубадуром, хотя бы для того, чтобы избавиться от наваждения? И кто знает, возможно, он в конце концов поймет в ваших объятиях, что, кроме бомб, есть другие средства достижения рая на земле. Но все-таки, кто же вы есть на самом деле, Анетта?

Анетта сделала невинные глаза:

– Что вы хотите сказать? Я – графиня де Камознс.

– Бросьте, никакой графини де Камознс не существует, – устало произнес Глендейл. – Ладно, не будем об этом. Я подумаю, что можно сделать. Кстати, я бы охотно встретился с этим молодым человеком. Сам я никогда не метал бомб, но и без дела тоже не сидел. По правде говоря, мой образ жизни, должно быть, причинил английской аристократии и «загнивающим правящим классам», как их величает ваш молодой человек, вреда больше, чем все террористы последних лет вместе взятые. Так что я попытаюсь организовать для вас и для вашего юного протеже небольшое романтическое путешествие в Италию. Оно может оказаться забавным. Когда-нибудь я с удовольствием расскажу принцу Уэльскому, как помог пересечь швейцарскую границу одному опасному анархисту. Надеюсь, это достигнет ушей и нашей дорогой Королевы. Сейчас как раз самое время сделать что-нибудь такое, что подняло бы мой авторитет. А то еще подумают, что я старею.

Бегство Армана и его спутников было таким легким и комфортабельным, что о подобном банда преступников преследуемых полицией трех стран, не могла и мечтать. С величайшим шиком пересекли они границу на спецпоезде Глендейла, наслаждаясь швейцарским пейзажем из окна вагона, украшенного герцогской короной и гербом с изображением застигнутого в прыжке леопарда на желтом фоне. Леопарда род Глендейла воспроизводил на своем гербовом щите со времен третьего крестового похода, в котором, впрочем, не участвовал. Федеральные власти беспрепятственно пропускали поезд и несли караул в вагонах, так как после недавних террористических актов в Швейцарии принялись решительно проводить в жизнь меры по обеспечению безопасности именитых гостей. Властям объяснили, что герцог сопровождает

своих лошадей к месту скачек, которые должны состояться в Милане. К составу подцепили вагон-конюшню» в котором, под исполненными почтения взглядами полицейских, спокойно заняли свои места тренер с величественной осанкой, в превосходном костюме в кирпичную клетку, и жокей, через руку которого было перекинуто седло. Глендейл и Саппер при этом едва не бросились в объятия друг к другу: у них оказались общие знакомые среди лошадей.

Безукоризненно одетый Арман Дени поднялся в вагон, ведя под руку Анетту. Швейцарцы еще раз осмотрели весь состав, но никакой бомбы, разумеется, не нашли. Поезд тронулся. Во время всего путешествия беседа между старым анархистом и молодым аристократом – выражение принадлежало Глендейлу – не прекращалась ни на минуту, к огромному удовольствию обоих собеседников; устроившись друг против друга, они смаковали шампанское и бутерброды с икрой, пока повар хлопотал над фазанами в ростбифом» а Анетта, хотя и была занята тем, что больше смотрела на Армана, нежели слушала его, была горда и счастлива тем, что ее возлюбленный с блеском парирует аргументы такого соперника. В словесном поединке с одним из пронизательнейших людей своего времени Арман держался с таким достоинством, проявлял такую ловкость и точность попадания, что Анетта лишней раз утвердилась в мысли, что судьба обошлась с ним несправедливо и он должен был родиться по крайней мере эрцгерцогом.

– Я не сказал бы, сударь, – утверждал Глендейл, – что ваша логика производит на меня сильное впечатление. Ваша идея разрушить государство, нападая на его эфемерных представителей, кажется мне, мягко говоря, сумбурной. Вы переоцениваете значение личности, будь она королем или простым президентом республики. Впрочем, у меня есть сильное подозрение, что, бросая бомбы, вы самовыражаетесь, ведь других способов самовыражения у вас нет – таланта, например. Если бы вы мне сказали, что взрыв парламента или моста развлекает вас или служит разрядкой, я мог бы это понять, как понимаю – хотя и не разделяю такого удовольствия – людей, просиживающих целыми днями с удочкой на берегу реки. Рыбалка не для меня, я ее ненавижу.

С видом учтвого несогласия Арман покачал головой:

– Сударь, искусство ради искусства не относится к моим порокам. Убивая глав государств, терзая полицию, наводя ужас на правительства, мы преследуем чисто практическую и весьма определенную цель мы хотим» чтобы правители, защищая «порядок», заходили все дальше и дальше в своей тупой жестокости. Так они в конце концов уничтожат даже те иллюзорные свободы, с какими еще могут примириться. Когда же жизнь все более и более угнетаемых масс станет вконец невыносимой – а это не заставит себя ждать, – они восстанут против всей капиталистической системы. Наша цель – заставить власть сжимать свои тиски до тех пор, пока народ не взорвется и не сметет ее. Смысл наших чрезвычайных мер в том, чтобы вызвать у нее такие же ответные реакции. Реакция – это лучшая союзница революции. На каждый совершаемый нами теракт ответом будет еще более ужасный, более слепой террор. И вот тогда, когда не останется и капли свободы, весь народ примкнет к нам.

Глендейл выглядел подавленным.

– У вас весьма жалкое представление о народе, – заметил он. – Лично я хоть и считаюсь аристократом-декадентом – мы, кстати говоря, всегда являемся чьими-то декадентами, – о народных массах сужу гораздо более возвышенно. Их не ведут на бунт, как скотину, подстегивая раскаленным железом. Революция – это еще и культурный феномен, она не может быть только экономической или сугубо полицейской. Недалек тот день, когда на смену поколению, наблюдавшему за моим образом жизни, которым я умышленно щеголяю, придут толпы людей с вполне естественным желанием разделить мои удовольствия или, по крайней мере, лишиться меня их. Я играю революционную роль, значение которой вы несправедливо недооцениваете. Я

– превосходный агент-provokator, а мой вклад в прогресс, возможно, скромнен, но необходим. Добавлю, что как только я увижу массы, решительно настроенные наконец по-настоящему воспользоваться тем, что жизнь и искусство могут им предложить, я покину этот мир с чувством глубокого удовлетворения от того, что хорошо сыграл свою историческую роль. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем вид миллионов жуиров, идущих по моим стопам. Я люблю удовольствие. Ничто так не радует истинного гедониста, как сознание того, что твой род растет и приумножается. Настоящий, истинный жуир сам может даже обойтись без удовольствия и вести жизнь аскета при условии, что ему будет дозволено наслаждаться спектаклем, коим являются для него радости других. Он тогда становится соглядатаем, но только в самом благородном, буддистском значении этого слова. Так как, в сущности, именно это подразумевают на Востоке под созерцательным отрешением. Будда достиг такой стадии, когда собственного удовольствия ему уже мало: он хочет чувствовать вокруг себя радость всего, что дышит. Как только мы перестанем сомневаться в том, что наша радость переживет нас, смерть станет лишь сладостным погружением в счастье.

– Сударь, – ответил Арман, изобразив гримасу. – Парадокс – это обычное убежище всех тех, кто пытается напустить туману и спутать карты, кто извращает мир, чтобы измыслить оправдание своему существованию, кто норовит ослепить вас замысловатой, уродующей игрой кривых зеркал, потому что он сам считает себя уродливым. Все это жалкие потуги замести следы и попытаться таким образом ускользнуть от истины, которая все теснее сжимает их со всех сторон.

Анетте хотелось захлопать в ладоши – так ей было весело. Она не могла сказать, что ее приводило в большой восторг: гусиная печенка, специальный, похожий на восхитительную игрушку, поезд, необычайное высокомерие и красота Армана или же изящество и остроумие покрытого морщинами и снисходительного старика-гедониста с его неизменной улыбкой на губах, напоминавшей произведение искусства стародавних времен.

Глава X

В течение последующих месяцев, пока Арман таился в одной из квартир Милана, Глендейл с непринужденностью чародея открывал Анетте древний мир, о существовании которого девушка и не подозревала. Она, хотя и ожидала многого от этой первой своей встречи с Италией, оказалась совершенно не подготовленной к столь ошеломляющему откровению. Анетта даже разболелась от возбуждения и несколько дней не вставала с постели, созерцая через распахнутое окно изумрудный город, из розового на заре становящийся желтым на закате, пока врач, с безупречной точностью поставивший диагноз ее болезни, не посоветовал попросту задернуть шторы на Сан-Джорджо-Маджоре и не прописал валерьянку. В Риме, прохаживаясь в Колизее по плитам – в том месте, куда бросали на растерзание львам первых христиан, – она живо представила в роли мученика Армана и разрыдалась посреди арены так искренне, что проходивший мимо священник, взволнованный столь безупречной чистотой ее христианской веры, приблизился к девушке и дал ей свое благословение. Стоя на том самом месте, где Нерон – гид заверил ее в этом, предъявив свои дипломы чичероне, – играл на лире, любуясь Римом, пылавшим у его ног, она, несколько озадаченная, задавалась вопросом, что предпочел бы Арман: лиру поэта или факел поджигателя; в итоге она остановилась на факеле, который великолепно подошел бы к его типу красоты. Проезжая по Виа-Аппиа, откинувшись на подушки фаэтона, весело вращая зонтиком, представляя Армана, марширующего во главе своих легионов под имперским орлом, Анетта мечтательно подумала, что бы она надела по такому случаю, в сейчас же побежала к Луппи заказывать новое платье.

Возвратившись в Венецию, скользя в гондоле Дики по Канале-Гранде, посещая розовые церкви – такие воздушные, такие светлые и фривольные, что она даже опускалась на колени, – открывая Флоренцию и Пизу, Болонью и Падую, восхищаясь полотнами Джотто, слушая Верди в своей ложе в «Ла Скала», она очень скоро пришла к заключению, что жить по-другому уже не сможет никогда, что она нашла наконец свое место, свой мир, свою судьбу. Глендейл внимательно и нежно наблюдал за ней; он чувствовал, что его план срабатывает и что ему, возможно, удастся изгнать из нее беса.

– Вы обладаете редким в наше время талантом – умеете радоваться жизни. Дар этот нужно развивать, и я охотно помогу вам.

Тем не менее даже в паре с таким союзником, как Италия, Глендейл порой чувствовал, что его сражение проиграно заранее и что, несмотря на все то великолепие, которым он ее окружил, несмотря на все свои трюки иллюзиониста, заставить ее забыть главное ему не удастся: она слишком твердо усвоила, что из всех радостей, которыми так изобилует жизнь, только одна имеет настоящую ценность. Для него не было тайной, куда, в какое злчное место Милана торопится она после оперы, после того, как он привозил ее в гостиницу и безропотно целовал руку.

– Хотите, я вам оставлю свой экипаж?

– Нет, дорогой Дики, я возьму фиакр. Это не так бросается в глаза.

Он подозвал фиакр, помог ей сесть, и она, горя нетерпением, поторапливая извозчика, отправилась на Виа-Пердита, где в мрачном здании в глубине омерзительного коридора скрывался Арман.

– Сколько тебе удалось выклянчить у нашего благодетеля на сей раз? – спросил он с издевкой.

Но такое циничное отношение не сбило ее с толку, она знала, что ее отлучки и близость с Глендейлом причиняют ему боль. Он целиком зависел от нее во время этого своего вынужденного бездействия, когда его всюду искала полиция; и хотя она не показывала виду, нотки ревности, которые угадывались за его бравурными речами, приводили ее в восторг. Она никогда не была нужна ему, и вот теперь наконец впервые у нее появилось чувство полного обладания им. Когда он грубо сжимал ее в объятиях, что являлось своеобразным способом борьбы с переполнявшей его нежностью, когда он, случалось, бормотал ругательства, которые она тут же гасила своими поцелуями, в его почти отчаявшемся взгляде читалась такая любовь, что ее не в силах были скрыть ни насмешки, ни его развязные и циничные выражения. Она чувствовала, что одерживает верх, что Свобода, Равенство и Братство ослабляют хватку и Арман выскальзывает из их объятий. Человечество тогда становилось всего лишь далеким звуком рожка в глубине леса, едва-едва пробивающимся сквозь плотные стены зарослей. Она была нужна ему, все остальное не имело значения. Она склонялась над ним, ее растрепанные волосы струились по обнаженной груди и лицу Армана, и так легко и радостно становилось у нее на душе, возникало такое сильное желание сохранить его для себя одной и навсегда, что губы невольно вспоминали старую песню парижских улиц ее детства, и этот банальный, простенький ритурнель казался ей человечнее любых самых возвышенных речей:

Не знаю чувства я сильней
Любви моей,
Любви моей.
Клянусь, что дня не проживу
Я без того, кого люблю,
Кого люблю. . .

Придворный поэт в изумлении поднял голову: Леди Л. пела. Остановившись под веткой цветущей сирени, она пела по-французски, пела необычайно юным голосом, что никак не вязалось с ее седыми волосами. Ибо голос не постарел, и это немного смущало. Затем песня угасла у нее на губах, и теперь, несмотря на улыбку, в глазах стояли слезы, а рука нежно ласкала ветку сирени; сэр Перси отвел взгляд, опустил голову и тростью принялся чертить квадратики на дорожке.

Войдя однажды вечером в убогое жилище с замороженным фазаном, виноградом и бутылкой вина в корзине, она застала Альфонса Лекера и жокея сидящими на кровати и внимающими Арману, который лихорадочно ходил взад и вперед по комнате. Он рассеянно кивнул ей, и Анетте не надо было даже вслушиваться в его слова, чтобы понять: его маниакальная идея вновь завладела им. Лекер, хотя и сохранивший еще всю свою недюжинную силу, а также мрачновато-наглый и самоуверенный вид, вступал уже в последнюю стадию известной болезни, которая выдавала себя лишь расширенными зрачками. Он сидел с тупым выражением на кирпично-красном лице. Саппер же, с грустью посмотрев на девушку, перевел взгляд на сигарету: надеясь на свое крепкое телосложение, Лекер уже несколько лет как прекратил лечение ртутью. В комнате был еще один человек, вертлявый и лысый коротышка-итальянец по имени Маротти, который все время радостно потирал ладони, так, словно собирался провернуть выгодное дельце. Они обсуждали план убийства короля Италии Умберто на премьерной опере Верди. Анетта бросила корзинку, разрыдалась и убежала.

А дальше случилось то, что случалось всегда. В очередной раз ей пришлось расстаться со своими драгоценностями, и вся выручка – не составившая и трети их стоимости – ушла на

подготовку покушения. Дело о паре серег, подаренных ей Дики, было типичным в странных отношениях, объединявших Анетту, Глендейла и Армана. Это были относительно небольшие, но удивительно чистые бриллианты, подлинный шедевр гранильщиков Амстердама; каждый вечер Анетта выкладывала их на ладонь, как двух веселых живых зверьков. Когда Арман затребовал серьги, она тотчас сняла их и протянула ему, лишь тяжело вздохнув, и серьги тут же были проданы в «Галлиере». На следующий день за ужином Глендейл, взглянув на Анетту, довольно резким тоном спросил, кому они продали драгоценности. Он их немедленно выкупил и вручил ей. Вскоре серьги снова попали в руки «Боевой группы» и опять оказались в «Галлиере», и Глендейл, отчитав Анетту, не без некоторого раздражения выкупил их еще раз. Леди Л. часто смеялась, вспоминая, как серьги троекратно выкупались у изумленного ювелира и как, несмотря на все обещания, даваемые ею с самым невинным видом, она неизменно передавала украшения Арману.

В конце концов терпение Глендейла истощилось: он устроил Анетте сцену и, оставив ее всю в слезах, сел в свой желто-черный, известный всему Милану, экипаж и велел отвезти его в новое убежище террористов, за которыми он установил постоянное наблюдение, так как боялся, чтобы полиция не нагрянула туда в тот момент, когда там подле своего опасного возлюбленного будет находиться очаровательная графиня де Камоэнс. Такой скандал серьезно расстроил бы его планы, и поэтому он заботился о безопасности террориста со все растущим раздражением, против которого было бессильно даже никогда не покидавшее его чувство юмора. В черной шубе, сопровождаемый двумя лакеями в ливреях и цилиндрах, он театрально переступил порог подпольной типографии; Арман как раз запускал в работу пресс, а Маротти доводил до совершенства один из своих памфлетов, которыми анархисты заполнили в то время весь север Италии. Глендейл спустился по ступенькам задней комнаты, испепелил взглядом почтенное собрание, подошел к Арману и, вытащив бумажник, сухо спросил:

– Сколько точно вам нужно, чтобы устроить покушение на Умберто? Я готов взять на себя все расходы по мероприятию, но должен попросить вас оставить эти серьги в покое. Она дорожит ими. Если не возражаете, будем считать, что таким образом вы делаете ей подарок.

Взрывной механизм бомбы, оставленной в королевской ложе, не сработал, и Умберто пришлось подождать до 1900 года, чтобы его убили. Кстати, Анетта к этому моменту обнаружила в себе некоторую тягу к королям и сожалела, что их больше не осталось. Она прекрасно понимала, что время от времени следует убивать одного или двух, в назидание остальным, чтобы не заносились, но ей нравился их внешний блеск, помпезность их появлений, музыкальное, пурпурно-золотое обрамление, сабли наголо и перья, тиары и реверансы, – вот уж действительно кто жил в свое удовольствие. Слишком свежи еще были ее уличные воспоминания, чтобы не испытывать восхищения хорошо поставленным спектаклем королевской власти. Ей нравились роющие копытом землю кони, щеголяющие султанами генералы и кардиналы на паперти: она питала слабость к пурпурной кардинальской мантии, да и вообще считала, что Церковь одевается довольно неплохо. В мире так не хватает красок, блеска и красивых нарядов, но для того и короли, чтобы радовать глаз. Необходимо помешать им править, и только. Ее, кстати, мало беспокоило, что все они кончат на эшафоте, важно, чтобы их повели туда с большой помпой.

Террористическая жилка была в ней уже достаточно сильна, чтобы позволять ей ко всему, что по их воле обращалось в прах, относиться с некоторой долей иронии и с легким сердцем.

Первая попытка освободиться от тяготившего ее бремени была предпринята ею спустя некоторое время после инцидента с серьгами и перед их с Дики отъездом на карнавал в Венецию. Имя Армана Дени тогда шло первым номером во всех списках анархистов, разыскиваемых полицией, и они, чтобы встретаться, вынуждены были принимать нескончаемые меры

предосторожности. Явившись однажды после бала у княгини Монтанези на свидание к своему любовнику, ждавшему ее в закрытой карете, Анетта заметила, что Арман как-то хмуро, с презрением посмотрел на нее. Она не успела переодеться, и в свете газовой горелки ее шея, мочки ушей, пальцы и запястья сверкали изумрудами и бриллиантами, которые одолжил ей на этот вечер Глендейл.

– Я ведь должна соблюдать правила игры, Арман, – сказала она робко.

– И тем не менее эта вызывающая роскошь оскорбительна для тех, кто во всем мире подышает с голоду.

Некоторое время они молча катили по улицам Милана. Затем вдруг Арман крикнул вознице название квартала, в котором она никогда не была. Они продолжали ехать, не разговаривая, словно чужие. Анетта приуныла: немало было в ее жизни всяких неприятностей, но ничто не доставляло ей таких мучений, как страх потерять его. Когда они оказались в узких и темных улочках Кампо, Арман остановил карету. Они вышли. Лунный свет падал на мостовую, отражаясь в лужах грязи. Воздух вонял затхлостью и отбросами. Прохожих не было. На тротуаре, прислонившись к стене, сидела старая нищенка; завидев их, она тут же протянула руку. Не говоря ни слова, Арман сорвал с Анетты серьги, кольцо, браслеты и кольца, нагнулся над неподвижной старухой в осторожно, почти нежно, нацепил на нее серьги, защелкнул кольцо на ее тощей шее, надел кольца и браслеты на ее скрюченные пальцы и запястья. Затем он положил руку ей на плечо.

– Прими их, – произнес он с такой доброй, нежной улыбкой, что Леди Л. запомнила ее на всю жизнь. – Они тебе принадлежат по праву.

Отягченные золотом и камнями руки старухи тяжело упали вниз. Мгновение она оставалась неподвижной, бесстрастно разглядывая Армана, затем опустила голову.

Вдруг что-то в поведении нищенки поразило Анетту. Она нагнулась, заглянула в ее открытые глаза, вскрикнула и с рыданиями убежала прочь; старуха, не совладав с волнением, скончалась.

На следующий день все миланские газеты писали о «самой невероятной загадке века» – старой нищенке, найденной мертвой в квартале Кампо с бесценным колье на шее, бриллиантами по двенадцати каратов в ушах, приколотым к ее лохмотьям золотым скарабеем и браслетами из золота и изумрудов на холодных запястьях.

Адвокаты Глендейла потратили два года на то, чтобы вернуть драгоценности, доказывая, что они были похищены в гостинице из шкатулки подзащитного. Какие только гипотезы не выдвигались, однако имя Анетты не всплыло ни разу – ни в газетах, ни в ходе следствия. Итальянский писатель Ардити положил этот случай в основу одного из самых известных своих романов.

Анетта всю ночь проплакала у себя в номере. У нее даже подскочила температура, и она несколько дней не вставала с постели. Впервые после знакомства с Арманом она его боялась. Она чувствовала себя униженной, презираемой, отвергнутой, и вся та энергия, необузданность, страсть, что еще оставались в ней, вся оскорбленная женственность побуждали ее перейти грань, которая отделяет любовь от ненависти; одной иронии было уже недостаточно, кокетничанье, шутки теряли смысл и свои защитные свойства; она отдалась водовороту страстей, эмоций: к дерзким мечтам о торжестве возмездия примешивались глубокое отчаяние и душевная боль, притупить которую были не в силах даже слезы. Едва оправившись от болезни, она поездом уехала в Комо искать защиты и утешения подле того, кто единственный по-настоящему ее понимал и во всем поддерживал.

– Я больше так не могу, Дики, Не могу больше. Не могу и... не хочу.

Глендейл нежно прижал к плечу голову расплакавшейся девушки. На его бесстрашном, с

восточными черточками, лице, в застывшем взгляде слегка раскосых глаз промелькнуло выражение радости – как у человека, весьма довольного тем, что ему наконец удалось похитить из Лувра саму «Джоконду».

– Я умоляю вас, Дики, помогите мне. Он погубит меня. . . а я. . . я так его люблю!

– Успокойтесь, вы с ним оба – страстные натуры, вам совершенно недоступны умеренные широты, а только на них человек еще сохраняет шансы продлить свое счастье. У него – экстремизм души и идей, у вас – экстремизм сердца и чувств. . . Очень скверно! Страсти, как сердечные, так и идейные, в конечном счете превращают мир в джунгли. Вспомните эти строчки из Уильяма Блейка: «Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night. . .»* Я не знаю более яркого и точного образа страсти. . .

– Но что же делать, Дики, что делать?

– Полноте, дитя мое, ведь это так просто! Откажитесь от встреч с ним. А чтобы вы меньше страдали первое время, мы могли бы уехать месяцев на шесть в Турцию. Весна на Босфоре залечивает любые раны.

– Это не поможет, Дики. Слишком близко. Стоит мне только оттуда вернуться, как я тотчас брошусь к нему в объятия. Я не могу без него жить. . . Боже мой, Дики, что со мной станет?

Глендейл задумался.

– Мне, право, видится только одно, что мы можем сделать, – сказал он наконец. – Учитывая ту исключительную страсть, какую он вам внушает, выбор у нас не большой, верно? Необходимо сделать так, чтобы у вас просто не было физической возможности видеться с ним. Вначале будет нелегко, но жизнь есть жизнь, и через год или два нам, я уверен, удастся преодолеть эту трудность.

– Поверьте, это бесполезно. Даже если мы с вами уедем в Китай. Я себя знаю.

– Видите ли, это, не совсем то, что я имею в виду, – доброжелательно проговорил Глендейл.

– Мне кажется, единственный способ отгородиться от него – толстые стены да непрерывный, строжайший надзор, который лишил бы Армана всякой возможности встречаться с вами.

– О чем вы? Не могу же я все свое время проводить в крепости.

– Да нет же, дитя мое. Не вы. *Он*. Это очень легко устроить» поверьте. Нам не составило бы никакого труда заточить Армана в одну из тех респектабельных тюрем, что итальянцы унаследовали от австрийцев и содержат теперь в образцовом порядке.

Она с ужасом посмотрела на него:

– Дики, вы чудовище! Я вам категорически запрещаю! Если вы сдадите его в полицию, вы меня больше никогда не увидите! Я покончу с собой.

Он взял ее за руку:

– Анетта, подумайте как следует. Здоровье у меня не ахти какое. . . Врачи говорят, старею. Детей у меня нет. Когда я думаю о своих садах, своей любви, своих картинах. . . И вы, и я, мы оба обладаем способностью привязываться к предметам, как к друзьям, любить их, заботиться об этом загадочном мире, который называют неодушевленным. . . Вещи становятся неодушевленными, только когда их бросают. Предметам, чтобы начать жить, необходимо внимание, дружба. . . Когда я умру, все то, что составляло мою вселенную, рассыплется, рассеется как дым. . . Осознавать это так мучительно. Я хотел бы, чтобы после меня вы позаботились о моем сказочном мире. Я хотел бы, чтобы вы вышли за меня замуж.

Она смерила его недоверчивым взглядом:

– Дики! Вы даже не знаете, кто я.

*«Тигр, тигр, пылающий ярко в ночном лесу. . .» (англ.)

– Я знаю все. Уже почти год я исследую ваше прошлое и не думаю, что осталось много такого, чего бы я не знал. Могу даже сказать больше: следов вашего прошлого почти не осталось. Мне далось это нелегко, но теперь любой, кто стал бы искать в мэрии свидетельство о рождении Анетты Буден, только напрасно потратил бы время. А все эти глупости, как-то: происхождение, дворянство, титул, – вызывают у меня только смех и даже злость. Я их ни в грош не ставлю. Моя жена – цыганка – была уличной танцовщицей, когда я ее встретил, но в ней чувствовалась порода, истинная, природная утонченность. Единственное, что стоит ценить в человеке, – это чувство собственного достоинства, и вы в высшей степени наделены им. Вы были бы для меня превосходной спутницей, идеальной наследницей всего того, чем я владею. Без вас в моих картинах будут видеть только деньги, мои дома осиротеют и постепенно погрязнут в уродстве, от моих садов повеет мерзостью запустения. . . Нельзя так поступать с вещами, которые любишь, Анетта, – мы нужны им.

Она была ошеломлена, потрясена до глубины души: более трогательного признания девушка не могла и представить. Но она только покачала головой:

– Я бы так хотела сказать «да», Дики. Только это невозможно, это было бы нечестно по отношению к вам. Я не могу жить без Армана. Вы знаете, что это такое.

Он поцеловал ее в лоб.

– Да, малыш, – грустно проговорил он. – Да. Я знаю, что это такое. Тогда. . . Едем в Равенну.

Но он подал ей мысль о бегстве, и всю ночь она не могла сомкнуть глаз; потрясенная, отчаявшаяся, курила сигарету за сигаретой, грезилась свободой, но понимала, что освободиться не сможет. Она начинала сознавать, что любовь может стать жестоким рабством и тот, кто захочет разорвать его цепи, должен обладать незаурядной силой воли, которой у нее, судя по всему, не было. Вот Арман, тот прочно усвоил, что нет ничего дороже свободы и что ради нее можно не колеблясь пожертвовать всем, но она определенно не сумела воспользоваться его уроками. Действительно, размышляла она, вздыхая, нужно было выковать характер, перейти, как он говорил, к прямым действиям, проникнуться, наконец, той доктриной, что ей внушали, и бросить бомбу, чтобы избавиться от своего мучителя.

Вернувшись из Равенны и снова встретившись с Арманом, она взглянула на него другими глазами и впервые по-настоящему попыталась усвоить его беспощадную логику, поддаться убежденности, сквозившей в этом завораживающем, страстном, звонком голосе, избличавшем рабство во всех его проявлениях и отвергавшем любые формы зависимости сердца и рассудка. Сейчас-то Леди Л. хорошо видела противоречие между тем, что внушал ей Арман, образом жизни, какой он вел, между той абсолютной свободой, к которой он призывал» и его собственным порабощением идей. Противоречие было даже между абсолютной идеей свободы и абсолютной преданностью этой идее, между свободным человеком, каковым он себя считал, и его полным подчинением доктрине, идеологии. Сегодня ей казалось, что действительно свободным может быть только тот, кто свободно обходится со своими идеями, не полагается на одну только логику, на какую-то одну истину, кто допускает свободу действий в отношении всего, в рамках любой философии. Быть может, нужно даже уметь подняться над своими идеями, убеждениями ради того, чтобы остаться свободным человеком. Чем строже логика, тем больше у нее сходства с тюрьмой; ну а жизнь состоит из противоречий, компромиссов, временных сделок, и высокие принципы способны не только озарить мир, но и сжечь его. Любимая фраза Армана: «Нужно идти до конца» – могла привести лишь в никуда, его мечта о полной социальной справедливости отличалась чистотой, какая бывает только в вакууме. Но ей было всего двадцать, образования она не получила и не догадывалась даже, какой разрушительной силы может достичь логический экстремизм как в истине, так и в

заблуждении, она не жила еще в великом веке идеомании; знала она лишь одно: он охвачен всепоглощающей страстью, она же вынуждена довольствоваться остатками.

Она заметила также, что о человечестве он говорил как о женщине, и возненавидела эту тираническую, загадочную, скрытную, безликую соперницу, удовлетворить которую не удалось еще ни одному из мужчин, – самое большое удовольствие она, очевидно, испытывала, когда подталкивала их к гибели. Невыносимо было слышать, как он постоянно говорит о другой, склоняться над ним, видеть глаза своего возлюбленного, полные страсти, грез, желания, и знать, что все это не для тебя. Не она была причиной его жестоких сердечных терзаний, не для нее он жил, страдал, рисковал головой. Вся эта мужественность, это тело, такое чувственное, такое горячее, созданное для земных благ, с мощными бедрами и икрами, с крепким и гибким торсом, сильными руками, созданными для того, чтобы хватать и не отпускать, принадлежало равнодушной, жестокой и ненасытной любовнице, чуждой и злой принцессе, которой он служил с безграничной преданностью; осчастливить, обрадовать, удовлетворить ее – вот единственное, что всерьез его волновало. «Она», «эта», «другая» – вот как думала Анетта о своей сопернице; в человечестве она стала видеть взыскательную и неудовлетворенную женщину, которая хочет отнять у нее возлюбленного. Да, это была принцесса, великосветская дама – безжалостная, жестокая, ужасно капризная и обожавшая кровавые игры. Все остальное – идеи, причины, политические теоремы – было слишком сложно и нереально, несколько неприятно, и как только подходило время метать бомбы и убивать, чтобы осчастливить «ее», «она» – проклятая распутница – прекрасно знала, что есть мужчины, которым это по вкусу и которые без ума от женщин, что мучают их и требуют невозможного, и «она», конечно же, была из разряда этих шлюх. И упаси Бог открыто покритиковать «ее», сделать какое-либо нелестное замечание: Арман тотчас менялся в лице, словно она оскорбила его родную мать, и одаривал ее таким холодным взглядом, что Анетта приходила в полное замешательство.

– Короли, правительства, полиция, генералы – вот кто ежедневно наводит порчу на человечество, – говорил он, яростно комкая газету. – Оно отдано на откуп их зверским аппетитам, оно не в силах защитить себя, тогда как пресса подавляет его крики, а духовенство призывает к покорности.

Анетта пожалала плечами:

– Ты же не знаешь, возможно, ему это нравится?

Он взглянул на нее так свирепо, что у нее все похолодело внутри.

– Прости, милый, я сама не знаю, что говорю. Мне еще столькому нужно научиться. . .

«Как странно, – размышляла она, проводя кончиками пальцем по его красивому страстному лицу, склонившись над его фанатичными, жгучими, обиженными глазами, – как странно, он так же безнадежно увлечен своей шлюхой, как я им, каждую минуту он рискует быть уничтоженным этой слишком большой любовью, так же как я своею, он выше всего ставит свободу и тем не менее не может освободиться, я критикую его слепую привязанность, а сама не в силах избавиться от своей».

Все ее опасения рассеивались, как только она вновь встречалась с ним. Отдаваясь ему, она испытывала такое счастье, что не вызывавшие сомнения доводы покончить со всем раз и навсегда становились лишь жалкими теоретическими построениями, не имеющими ничего общего с реальностью; и сам Арман, когда обнимал ее, когда вкушал наконец эту живую, доступную, осязаемую реальность, которую можно было прижать к себе, ощутить со всей полнотой, когда переживал этот внезапно материализовавшийся абсолюте, то отдавался страсти с таким жаром и такой нежностью, что она забывала даже о том, что хорошо знала: все это лишь минутная передышка, отдохновение опустившегося на землю звездного странника. Они соединялись тогда на краткий миг в счастливой банальности.

- Я люблю тебя, ты знаешь.
- Молчи, Арман, а то она услышит. . .
- Кто?
- Та, другая.
- Не понимаю.
- Брось, Арман, ты прекрасно знаешь, о ком я. Человечество.

Он смеялся, играя ее волосами.

- Не преувеличивай. А то я подумаю, что ты ревнуешь меня к нему.
- Знаешь, у него повсюду свои шпионы. Они могут на тебя донести. В такой-то день такой-то субъект любил женщину в таком-то месте. Злостное преступление. Свобода, Равенство и Братство были там и могут засвидетельствовать.

- Ну и что дальше?
- Дальше. . . не знаю. Тебя предадут суду.
- И оправдают.
- Вот видишь, ты не любишь меня. . .

– Человечеству я скажу: я люблю одну женщину, она разделяет наши взгляды. Отважная, умная, верная боевая подруга. . . Серьезно, скоро я попрошу тебя помочь нам. Все складывается в нашу пользу. Репрессии ужесточаются. Рабочие страдают больше других и автоматически примыкают к нам.

Она задумчиво смотрела на него и вздыхала.

«Боже мой, – размышляла она, – зачем я связалась с идеалистом, зачем не влюбилась в свинью, как все? Не было бы никаких хлопот!» Но она знала, что это неправда. Напротив, блеск сжигавшего его пламени притягивал и ее. Как всякая женщина, она испытывала мучительное, инстинктивно властное желание обратить на себя всю ту неясность, что в нем была, обладать ею, не уступать никому, будь то даже целое человечество, это диковинное, способное на такую страстность и такую верность существо. . .

- Ну-ну, Анетта, почему ты плачешь?
- Ах, оставь меня.

Терроризм тогда достиг, особенно во Франции, своего апогея. Банкиров, политиков – и продажных, и честных – убивали прямо на улицах и даже в здании самого парламента; в общественных местах, в кафе, посещаемых «паразитами», взрывались бомбы; Глендейл в конце концов изъял у Анетты все, что осталось от ее драгоценностей. Армана, постоянно менявшего адреса, никогда не ночевавшего дважды в одном и том же месте, охраняли студенты, двое из которых, защищая его, погибли; она никогда не знала, где и когда они встретятся в следующий раз. Получив вдруг записку с вызовом на борт рыбацкого баркаса, она мчалась на озеро в Стрезу, где ее ждал Арман в красной рубашке и синем колпаке pescatore*, и она проводила ночь в рыболовной сети, как плененная русалка. Затем от него вновь не было вестей неделю или две, а газеты уже сообщали об очередном покушении – на торжественном открытии нового вокзала в Милане в толпе адским устройством ранена девочка, – и она, несчастная, встревоженная, готовая взбунтоваться, на сей раз по-настоящему, ждала, пока очередное послание не заставляло ее мчаться на кладбище Кампо Санто в Геную, где среди гипсовых святых и окаменевших ангелов перед ней внезапно вырастал Арман. Неоднократно они встречались также в доме Габриэле Д'Аннунцио, звезда которого только начинала тогда восходить в небе Италии. Их знакомство состоялось в манере, если так можно сказать, типичной для раннего Д'Аннунцио, который над своей жизнью работал с таким же вдохновенным усердием, как и

*Рыбак (*ит.*).

над своими стихами. Прогуливаясь однажды вечером по Кампо Санто, они заметили невысокого, элегантно одетого молодого человека, следовавшего за ними по пятам среди вычурных памятников самого знаменитого кладбища в мире. Решив, что он из полиции, Арман уже было потянулся к пистолету, спрятанному под курткой, как вдруг незнакомец, подойдя ближе, чрезвычайно галантно, хотя и не без некоторой дерзости, поздоровался.

– Меня зовут Габриэле Д'Аннунцио, и я поэт, – сказал он. – У меня к вам просьба, и я заранее прошу извинить, если вы сочтете ее несколько необычной. Не согласитесь ли вы, сударь, вы, мадемуазель, облагодетельствовать мой очаг?

Арман смерил его холодным взглядом:

– Боюсь, я не понимаю, о чем вы.

– Свой дом – где я живу один – я бы хотел предоставить в ваше распоряжение, чтобы любовь и красота освятили новое жилище поэта и одухотворили стихи, которые я собираюсь там писать. . .

Д'Аннунцио рассказывает эту историю иначе. По его версии, он предоставил дом влюбленной парочке без средств, встретившейся ему в Кампо Санто в Генуе в тот момент, когда они собирались вместе распоститься с жизнью. Прочитав впоследствии этот рассказ в одном из писем поэта, Леди Л. узнала, что ее представили молоденькой цветочницей с корзиной пармских фиалок в руке, которые она бросала на «холодную землю, готовую принять их последние поцелуи», и что она обладала «бесподобной красотой неукротенного животного». Однако Леди Л. умела ценить поэтические вольности, и ей, в целом, было приятно это сравнение с «неукротенным животным».

Вслед за тем произошли два события, побудившие Анетту принять жесточайшее с точки зрения логики решение, одним из самых удачных последствий которого было упечение британской короны.

Однажды она по первому зову секретаря Глендейла отправилась к своему другу: Дики лежал в постели, лицо его посерело и осунулось, щеки ввалились, глаза еще больше сузились; к признакам возраста теперь прибавились еще следы болезни. В руке он держал миниатюру, на которую смотрел с неподдельной нежностью; это была работа Гольбейна, и уж ей-то смерть не грозила. Двое мужчин стояли у изголовья: знаменитый кардиолог Манзини и синьор Феличчи, антиквар из Милана. Как только оба итальянца ушли, Глендейл грустно улыбнулся самому прекрасному из всех творений, но это было живое творение, наделенное волей и независимым умом, что крайне осложняло жизнь почитателя искусства.

– Манзини дает мне год. Думаю, он меня недооценивает, его может продлиться и год, и два, и полгода. У моих племянников, наверное, уже текут слюнки, а молоток оценщика готов произвести четыре роковых бетховенских удара на аукционе. . . Согласны ли вы выйти за меня замуж?

– Но я не могу, не могу! – воскликнула она. – Вам этого никогда не понять. . .

– Анетта, свобода – это самое ценное, что есть на земле, так, по крайней мере, нас учили и учат все философы и все истинные революционеры. Вы не можете до конца своих дней оставаться рабой этой страсти. Если вы до сих пор не воспользовались уроками Армана, то вы просто недостойная ученица. Во всяком случае, в созданном им мире джунглей его идеалистическая страсть – этот тигр, как говорит Блейк, – в конце концов проглотит его, а вместе с ним и вас. Восстаньте против вашего тирана, если он не способен восстать против своего. Сбросьте иго. Освободитесь. Пусть даже для этого вам придется бросить бомбу в своего безжалостного господина. Подумайте, дитя мое, и поскорее дайте мне ответ.

Она беззвучно заплакала, не зная, как быть, какому святому молиться. Она чувствовала, что это ее последний шанс и что времени у нее в обрез. Если Дики исчезнет, ничто не спасет

ее от падения; однако она смогла только упрямо покачать головой.

Лишь несколько дней спустя судьба пришла к ней на помощь, навязав свое решение: она обнаружила, что беременна. Леди Л. не раз задавалась вопросом, как бы сложилась ее жизнь, если бы не это вмешательство Провидения: Болдини и Сарджент не написали бы ее портретов, род Глендейлов остался бы без наследника, английская церковь, империя и партия консерваторов потеряли бы несколько своих самых верных приверженцев, а Англия – одну из самых знатных своих дам.

– Как все-таки непредсказуема жизнь, – сказала она, мечтательно глядя на сэра Перси.

Лицо Поэта-Лауреата исказилось в гримасе недоверия; остановившись на дорожке, он сжал свою трость с такой силой, что Леди Л. на миг подумала, не начнет ли он размахивать ею в воздухе, чтобы разогнать воображаемых ехидных демонов, как бы окруживших его со всех сторон.

Как только исчезли последние сомнения относительно состояния ее организма, она начала действовать с железной решимостью, подавляя эмоции, даже мысли, и, что было особенно характерно для ее нового настроения, она не сказала Дики о своей беременности, несмотря на все доверие, которое к нему питала. Всячески избегая риска, она незамедлительно принялась бороться, жестоко и отчаянно, за будущее своего ребенка, с инстинктивным упрямством дикого зверя, повинующегося древнейшему закону природы.

Последняя встреча с Арманом состоялась на Боромейских островах на озере Лаго-Маджоре. В то время острога еще были собственностью семейства Боррилья, которое ее и пригласило. Арман, не испугавшись сильной волны, приплыл на свидание в лодке. Надев белое платье, Анетта, с зонтиком в руке, с рассвета ждала его на мраморной лесенке, которая вела к пристани частного порта. Он двинулся вслед за ней по дорожке, по обе стороны которой росли кусты роз: это были последние сентябрьские розы, с бархатисто-нежным запахом, который неизбежно приходит к цветам, так же как мудрость – к людям.

Она сообщила ему, что в октябре Глендейл намеревается закрыть виллу и увезти все драгоценности в Англию; поскольку Движение, как всегда, страдало от нехватки денег, это был их последний шанс поправить свои финансовые дела. Она обещала провести выходные на вилле у озера Комо; там будут и другие гости, но она подсыплет снотворное в их бокалы с вином, что же касается слуг, то укротить их не составит труда. Разумеется, вначале надо убедиться, что планы Глендейла не изменились.

Леди Л. до сих пор не могла забыть ту почти физическую душевную боль, которая разрывала ей сердце. Она помнила жужжание ос вокруг розового куста, охватившее ее ощущение глубокого, полного отчаяния и безысходности, а также почти яростной злобы – замысловатый коктейль чувств, где верх брал то гнев, холодный, ироничный, острый, как когти, то нежность, жалость, стремление защитить, спасти и убить, чтобы не мучиться, что совершенно сбивало ее с толку. Все осложнялось еще и тем, что Арман обнаружил такую нежность и признательность, такую ласку, выглядел таким веселым, преисполненным надежд, а она испытывала такое счастье, любясь знакомыми чертами, сквозь которые, как уже казалось, проглядывали черты шевелившегося в ней ребенка, что, не в силах более терпеть эти противоречивые, лишавшие ее рассудка порывы, она бросилась в его объятия и разрыдалась у него на плече. Анетта уже была готова все ему простить и все рассказать, но, к счастью, прежде чем она успела произнести хоть слово, в ее друга снова вселился его бес. Юный маньяк пустился в пространные рассуждения о новой жизни, которая ждет человечество, освобожденное от всех цепей и избавленное от всех напастей; он пропел такую оду любви и верности ее сопернице,

так реалистично и так убедительно расписывая испытания, которые ждут их впереди, что она лишь глубоко вздохнула, и вздох этот унес последние ее тревоги и сомнения.

– Кстати, только что сделано научное открытие, имеющее огромное значение для перманентной революции, – подытожил Арман. – Взрывчатка, простая в изготовлении и в сотню раз мощнее всего того, что было известно до сих пор. . .

– Хорошая новость, – сказала она. – Как чудесно все складывается.

– Отныне мы сможем вершить поистине великие дела, Анетта. Горстки смельчаков будет достаточно. Взять власть у загнивающей инертной буржуазии – вполне по силам деятельному меньшинству. Мы победим.

Она прищурилась, нежно и шаловливо посмотрела на него. Ей тотчас вспомнился вкрадчивый, убеждающий голос ее старого искусителя: «Вы должны наконец восстать против своего тирана. Пора воспользоваться уроками Армана, иначе вы просто недостойная ученица. . . » Она отвернулась, улыбаясь лишь уголками губ, поигрывая на плече зонтиком, прикасаясь к алой розе кончиками пальцем в перчатках.

– Все наши товарищи считают, что это изобретение открывает перед нами новые перспективы. . .

– Не сомневаюсь, друг мой, – сказала она.

Теперь в ней не оставалось уже ничего, кроме иронии. Именно в этот момент, когда слезы еще подрагивали у нее на ресницах и она осторожно, кончиками пальцев приподнимала розу, разворачивая ее к пританцовывавшей осе, и родился театральный, язвительный и несколько жестокий персонаж Леди Л. Она еще раз повернулась к Арману и дольше обычного задержала взгляд на его лице, загадочную и мужественную гармонию которого могла отныне восстановить лишь по памяти. «Поистине Господь не должен был делать Своих врагов такими красавцами», – подумала она, вздохнув, и с неуловимо-кошачьей гибкостью тела, более заметной даже при неподвижности, чем в движении, коснулась ветки апельсинового дерева и вдруг явственно представила его жгучий и мрачный взгляд, устремленный на нее из-за решеток клетки.

– Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night. . . – прошептала она.

– Что ты сказала?

– Это поэма Уильяма Блейка. Я беру уроки английского.

Какая несправедливость! Как жестоко было с его стороны так обращаться с ней, вынуждая ее прибегать к столь ужасным средствам; она никогда ему этого не простит, никогда. . . Она вынула из рукава кружевной платочек и поднесла к глазам. Он привлек ее к себе, смеясь, сказал:

– Ну, ну, Анетта. Едва ли это так серьезно, чтобы. . .

«Как объяснить, – думала она, напряженно вглядываясь в Армана, – что в течение стольких лет он дурачит полицейских всей Европы, но так ни разу и не попался? Не потому ли, что в полиции работают мужчины, а не женщины. Они просто не знают, как взяться за дело».

Условились, что Арман и два его адъютанта придут в Комо в пятницу вечером, то есть через день. Проведут ночь на вилле графа Грановского, запертой и всеми покинутой несколько месяцев назад, после нашумевшего самоубийства ее владельца, проигравшегося в пух и прах в Монте-Карло; в субботу во второй половине дня Анетта бросит за ограду виллы красную розу – сигнал, означающий, что все идет по плану, без сюрпризов. В десять часов компания явится во владения Глендейла на берегу озера; они свяжут четверых слуг, и, наполнив мешки, трое мужчин вернутся на виллу Грановского, наденут мундиры офицеров австрийской и французской кавалерии – в Комо тогда ежегодно проводились конные состязания – и отправятся

полуночным поездом в Геную. Оттуда они немедленно отплывут в Константинополь, где в то время был лучший в мире рынок сбыта краденых ценностей.

От волшебного слова «Константинополь» веяло таким романтизмом, что стоило только Арману его произнести, как у Анетты вновь появилось желание передумать и честно помочь Арману разграбить виллу Глендейла; она уже представила себя в золотистом каике на Босфоре в объятиях своего возлюбленного. К счастью, в эту самую минуту она ощутила под сердцем легкий божественный пинок, что и помогло ей вовремя опомниться. Нельзя сказать, чтобы она была слишком набожной, но иногда она не могла избавиться от ощущения, что ей покровительствуют некие по-дружески заботящиеся о ней силы добра. Нередко случалось и так, что Бога она представляла в образе некоего всемогущего Дики, приветливая и загадочная улыбка которого витала над миром, растворяясь в великолепии цветов и сладости плодов.

С тех пор Леди Л. не раз посещала Стамбул, как теперь называли Константинополь, и этот город, с его зловещим и немного извращенным очарованием, нравился ей, как и прежде; но, разумеется, без Армана он был уже совсем иным, напоминал отслужившие свое декорации. В конце концов, нельзя ведь взять от жизни все.

Как и предполагалось, в условленный день и час Арман нашел алую розу, которую она бросила через ограду. Это был искусственный цветок из тюля. Анетта оторвала его от одной из своих шляп. Настоящие розы долго не живут, а ей хотелось, чтобы в тюрьме у Армана было нечто такое, что заставило бы его думать о ней.

Троица мужчин без труда проникла на виллу. Двум русским студентам из Женевы, Заславскому и Любимову, было велено стоять на страже у ворот. Анетта оставила дверь открытой. Глендейл от души накачал своих гостей: британского консула в Милане, генерала фон Люденкифта, капитана германской императорской команды на конных состязаниях, а также двух других выдающихся личностей, чьи имена по прошествии стольких лет вылетели у Леди Л. из головы. В свете канделябров их неподвижные лица казались окаменевшими, они все валялись на полу вокруг стола – подле двух лакеев в ливреях, метрдотеля и фазана в желе; для большей надежности Глендейл напоил микстурой также слуг и даже своего пуделя Мюрата. Было решено, что сам Дики только притворится одурманенным: ему следовало побереечь сердце. Поэтому он развалился в кресле в убедительно-живописной позе, краем глаза наблюдая за происходящим: свою живую картину он находил весьма удачной. Что касается Анетты, она сама плеснула себе более чем щедрую дозу снотворного, ибо знала, что иначе всю ночь не сомкнет глаз.

Управившись за сорок пять минут, Арман, Альфонс Лекер и жокей направились с добычей на виллу Грановского. Но не успели они появиться в парке, как со всех сторон на них набросились дюжины две полицейских. Арман и жокей были схвачены немедленно, а вот Лекер, выкрикнув ужасное ругательство, успел выхватить свой старый нож апаша и пырнул одного из полицейских в живот. Заславскому и Любимову, которые сразу отправились прямо на вокзал брать билеты на поезд, удалось бежать; впоследствии их имена упоминались в связи с террористическими действиями нигилистов в России: Любимов умер в Сибири» Заславский выжил, примкнул к социал-демократам и пользовался определенным влиянием в окружении Керенского, за которым последовал и в эмиграцию. Троицу анархистов отвезли в Милан, и в течение нескольких дней все газеты восторженно трезвонили об аресте Армана Дени и его сообщников; – однако единственное, что удалось вменить им в вину, было вооруженное ограбление – никто из всей разоблаченной организации не показал против них; более того, суд побоялся расправы; вынесенный в конце концов приговор – пятнадцать лет каторжных работ – выглядел настоящим моральным оправданием и с возмущением был встречен всеми здравомыслящими людьми как во Франции, так и в Италии, тем более что подвиги Равашоля

как нельзя более кстати напоминали поборникам порядка, что время убийц далеко еще не кончилось.

Поэт-Лауреат был до того возмущен скандальной историей, которой досаждала ему Леди Л., что, не желая больше ее слушать, попытался переключиться и думать о более приятных и понятных вещах, из которых состояла его жизнь. Он призвал на помощь картины привычно-надежного мира, который ничто не могло пошатнуть: вход в клуб «Будлз»; Сент-Джеймский дворец; эпизоды последних соревнований по крикету в матче против Австралии; «Тайме» с высокомерным спокойствием коротеньких объявлений, занимающих всю первую страницу самой серьезной газеты в мире, отодвинув на второй план редакционные статьи и международную хронику, словно они ставили на место Историю с ее войнами и катастрофами и проблемами жизни и смерти, рабства и свободы. Поистине аристократическая, даже немного нигилистическая, если быть точным, позиция, как раз в духе великой террористической традиции английского юмора, не позволяющей жизни слишком к вам приближаться и становиться назойливой, а также в традициях Леди Л., главным образом когда она с холодной улыбкой истинной аристократки умело ставила второстепенное впереди главного. Однако напрасно он силился убедить себя, что вся эта история не более чем выдумка, он начинал различать в ней, несмотря ни на что, жуткие отголоски правды. Он был немного знаком с Глендейлом, существом фантастическим и способным на серьезнейшие заблуждения, всегда доставлявшим массу неудобств Короне.

Разве он не осмелился однажды подарить принцу Уэльскому золотую машинку для обрезки сигар в форме гильотины? Что, возможно, было невыносимее всего, так это та неприужденность, даже жестокость, с какой Леди Л. продолжала свой рассказ, пренебрегая его сентиментальностью и в особенности тем глубоким чувством, которое он к ней испытывали о котором она не могла не знать, хотя он всегда умело скрывал его за безукоризненной сдержанностью. Уже почти сорок лет он любил ее с таким постоянством, что порой ему казалось, будто он никогда не умрет. Сэр Перси не в силах был даже представить, как может исчезнуть та нежность, которую он к ней питал. И вот теперь она с такой непосредственностью плевала ему в душу, пыталась разрушить тот дивный образ, что он носил в своем сердце, и как будто даже испытывала истинное наслаждение, изображая себя недостойной своего доброго имени и того положения, которое занимала в обществе!

Всего несколько шагов отделяло их от павильона, заостренный купол которого устремлялся в синее небо, и сэру Перси все больше становилось не по себе, когда он думал о том, что ждет его за решетчатой загородкой, поросшей скрывавшими вход дикими розами и плющом, Эта атмосфера места тайных свиданий тревожила и слегка смущала его. Повсюду среди кустов роз и сирени виднелись статуи резвящихся купидонов с луками и стрелами, с задранными кверху попками; так обманчиво-приятен и насыщен ароматами был воздух этого уголка, что сами бабочки, казалось, порхают здесь, охваченные сладострастной истомой; Поэт-Лауреат крепко стиснул набалдашник трости, невольно сравнивая себя с сэром Галахедом, вооруженным копьем и заблудившимся в каком-нибудь заколдованном саду. .

– Мой брак был отпразднован с большой помпой, - вновь подала голое Леди Л. – Мы уехали в Англию, там у нас родился сын. Дики прожил дольше, чем предсказывали врачи, возможно, в этом была и моя заслуга. Королевская семья первое время, разумеется, хмурилась, но мое генеалогическое древо, восстановленное Дики с помощью одного из светил того времени, оказалось весьма убедительным, так же как и мои фамильные документы и портреты моих предков, – обнаружение портрета моего прапрадеда, Гонзага де Камозенса, написанного самим Эль Греко, что единодушно подтвердили все эксперты, стало, как вам известно, одним

из величайших событий в истории искусства. На стыке веков, сквозь столетия, проступало волнующее сходство с моими чертами, и у меня и вправду вкладывалось впечатление, что я была причастна к славнейшим моментам в судьбе человечества. Так что придворные круги в конечном счете оказались не столь придирчивыми, как я того опасалась. Дики был этим несколько раздосадован и лишь из любви ко мне смирился с отсутствием скандала. Принц Уэльский через третьих лиц передал, что находит меня очаровательной, и если я при жизни королевы Виктории так ни разу и не была принята в Букингемском дворце, то это в гораздо большей мере из-за ее маленькой личной войны с Дики, нежели из-за моей персоны. Я очень серьезно отнеслась к своим обязанностям. Тратила много денег. Окружала себя роскошью, редкой даже для того времени, что было не совсем в моем характере; скорее это был способ борьбы с моей соперницей, желание бросить ей вызов, изгнать прочь воспоминание о единственном подлинном богатстве, которое я когда-либо знала. Я помогала выжить сотням обездоленных семей, но сперва должна была убедиться, что лица моих бедняков мне симпатичны. Я ничего не хотела делать для другой, для этого человечества без лица и без тепла, этой анонимно-абстрактной соперницы, которая, рыская вокруг, высматривала людей доброй воли и пожирала их, тщетно пытаясь утолить свою жажду абсолюта. Говорят, что она из тех ненасытных в любви женщин, что в конечном счете пожирают мужчин, которых возжелают; если это так, то вполне оправданно, что во французском человечестве – женского рода.

Роскошь эта не имела ничего общего с цинизмом, но, думаю, в ней была приличная доза нигилизма, даже небытия. Я продолжала таким образом объясняться со своим мечтателем – пожирателем звезд. Это даже не было провозглашением веры: скорее это было состояние непрерывного бунта, экстремизм души, который после Первой мировой войны нашел в сюрреализме столь же отчаянную форму художественного выражения. В Глендейл-Хаузе у меня было сто сорок слуг, половина из которых следовала за нами, когда мы на зиму уезжали в Лондон; моя жизнь состояла из балов, театральных вечеров, приемов. Я отдавалась этому вихрю удовольствий не столько ради забавы, сколько – как вам сказать? – для того, чтобы еще больше досадить Арману.

Дики, конечно, немного ворчал, но был в восторге от того, какой прием мне повсюду оказывали, каким вниманием окружали: он думал о моих первых выходах в свет, на улице дю Жир, и лицо его озарялось доброй улыбкой. Он был поистине прирожденным анархистом. Думаю, что я делала его счастливым. Порой мне случалось грезить о моем ненавистном тигре, но тогда я брала на руки своего малыша и, услышав его смех, тотчас понимала, что поступила правильно, и все мои сомнения и сожаления улетучивались. Вскоре я стала одной из элегантнейших и восхитительнейших женщин того времени; в моих гостиных собирались самые блестящие умы Европы; за моим столом обсуждались государственные дела, и все с готовностью прислушивались к моему мнению. Никто не догадывался, что эти сказочные коллекции, которыми я себя окружила, втайне оставляли меня безразличной и что я предпочитала им подержанные и не представлявшие ценности вещи, которые понемногу собирала в восточном павильоне очень дурного вкуса, выстроенном по моему указанию в одном из укромных уголков сада. Но я продолжала поединок с моей соперницей и ее воздыхателем, и вскоре коллекцию моих картин, мои драгоценности, сады и виллы стали, к великой моей радости, приводить как пример упадка и разложения аристократии, не способной противостоять анархистским идеям. Художника, писавшего мой портрет, тотчас заваливали заказами; виртуоз, приглашенный выступить с концертами в моих гостиных, решал, что наступил его звездный час. Писатели посвящали мне свои произведения. Когда я проявляла некоторую эксцентричность вкуса или даже безвкусию, это просто-напросто давало начало новой моде. Короче, я старалась изо всех сил. Когда Дики умер, шесть лет спустя после нашей свадьбы, я взяла на

себя заботу обо всем, что он любил, и молчаливый мир вещей мало-помалу становился моим убежищем и другом. Я вышла замуж за Лорда Л. – хороший слуга становился уже большой редкостью – и помогла ему в его политической карьере; партия консерваторов, партия узости ума и филистеров, видела во мне самую надежную свою опору и ни в чем мне не отказывала. Я высоко ценила отсутствие у них идей, скудость воображения и тщетность их излишних мер предосторожности: я чувствовала, в какую ярость приводят они мою соперницу – человечество, и я, разумеется, заключила союз с врагом моего врага. Я узнала много полезного. Ночи я проводила за чтением, и книги стали для меня лучшими друзьями. Либеральные идеи очень привлекали меня здравомыслием и умеренностью, но я умела сдерживать себя, уступать своим слабостям я не собиралась. Мой сынишка был прелестным ребенком, с темными, горящими глазами; должно быть, он часто задавался вопросом, почему его мама сначала долго разглядывает его, а затем вдруг ударяется в слезы. Я делала все возможное, чтобы прогнать дурные мысли, чтобы попытаться быть счастливой: концерты, балеты, выставки, путешествия, книги, друзья, цветы, животные – я испробовала все. Но мои плечи порой были самой холодной и покинутой вещью в мире. Почти восемь лет я таким образом непрерывно вела со своей соперницей легкомысленный и отчаянный бой. А затем однажды ночью. . .

Глава XI

Окно было открыто. Парк растворился в темноте; звезды если и были, то ночь их берегла для себя. Леди Л. сидела в кресле, закрыв глаза, прислушиваясь к отдаленным отзвукам музыки Скарлатти, доносившимся как бы из прошлого. Покинув своих гостей, она вышла из концертного зала, чтобы выпить бокал хереса и выкурить сигарету. Но главным образом, чтобы после несметного числа улыбок и любезных слов побыть одной. Она попросила квартет Силади выступить у нее с концертом, однако с некоторого времени что-то случилось с музыкой, казалось, она состоит из одних сожалений; сама красота ее была чем-то вроде упрека, не утихавшего и в наступавшей затем тишине. Леди Л. прислонилась головой к подушке. В пальцах у нее догорала сигарета.

Она услышала робкое покашливание и открыла глаза. Между тем в гостиной она была по-прежнему одна. Оглядевшись вокруг повнимательнее, она заметила под тяжелой бархатной портьерой носок грубого, заляпанного грязью ботинка. Какое-то мгновение она удивленно, но безо всякого страха разглядывала его: чтобы ее испугать, нужно было нечто большее, чем наличие за портьерой прячущегося мужчины. Даже когда портьера раздвинулась и к ней вышел незнакомец, она почувствовала лишь легкую досаду: сторожа парка плохо делали свое дело. Это был тучный мужчина, короткорукий, с белыми нервными пальцами, круглым, омраченным тревогой лицом; он смерил ее взглядом, в котором к страху и дерзости примешивалось то выражение изумленного возмущения, какое неизбежно появляется на лицах отдельных благонамеренных людей, придавленных лавиной обрушившихся на них неприятностей. Она опустила взгляд на его ступни: поистине, они были огромны, а грязные ботинки на китайском ковре казались особенно громоздкими. Испачкано было и пальто: очевидно, он сорвался, перелезая через стену. Она обратила внимание также и на то, что гость не снял шляпу – бросая, по-видимому, вызов, – и продолжая разглядывать ее с оскорбленным, возмущенным видом извечного полемиста, чей яростный взгляд становится самым настоящим социальным требованием.

– Громов, Платон Софокл Аристотель Громов*, покорнейший слуга человечества, – произнес внезапно незваный гость хриплым и до странности безнадежным голосом, словно отказывался ото всяких притязаний на существование в тот самый момент, когда о нем же и заявлял. – Скарлатти, не правда ли? Сам большой любитель музыки, *bel canto*, бывший воспитанник великого Герцена, Бакунина, бывший первый баритон «Ковент-Гардена», изгнанный с позором за то, что отказался петь перед коронованными особами.

Леди Л. холодно, с каким-то ледяным любопытством наблюдала за ним. Какое облегчение – после всех этих лет, проведенных среди чужаков, встретить настоящего знакомого; она вдруг подумала о своем отце, но сумела подавить чувство неприязни. Мужчина сделал несколько шагов вперед, переваливаясь как утка; его нежно-голубые маленькие глазки, испуганное и влажное от пота лицо придавали ему патетический вид певца, которому не дали допеть романс, вылив на голову ушат холодной воды. Она поднесла к губам сигарету, сощурилась и выпустила дым. Все это начинало ее забавлять.

*В действительности П. С. А. Томас; сын органиста церкви в Чичестере, член группы «Экшн», созданной Кропоткиным в Англии. Анархисты, так же как позднее балетные танцовщики, уже в то время брали русские псевдонимы. (Примеч. автора.)

– Очень щекотливое дело, послание исключительной важности, буквально вопрос жизни и смерти. . . Простой почтовый ящик на службе человечества. . . Человек возродится. Сбросит все путы, найдет счастье в свежести своей вновь обретенной природы. . . наконец-то. Неудобно сюда добираться, собаки лают, темень, хоть глаз выколи, однако же вот он я, как всегда, сделал невозможное. Бокал вина был бы весьма кстати.

Леди Л. знала, что в любой момент может войти кто-нибудь из гостей или прислуги, и ради соблюдения приличий она, к сожалению, должна была положить конец этому приключению. А оно ее очень забавляло. После стольких лет этикета, хороших манер, вежливого и чопорного общества удрученный вид этого человека, смесь страха и вызова и даже его грязные тяжелые башмаки на ковре были как глоток свежего воздуха. Но она не могла себе позволить продолжать эту интермедию. Ни в коем случае этот неприглядный персонаж не должен заметить ее улыбку, как бы адресованную доброму старому другу. Она нахмурилась, потянулась к колокольчику. И тогда, с быстротою иллюзиониста, мужчина снял котелок, вытащил оттуда розу из красного тюля и вскинул вместе с ней руку вверх.

Леди Л. смотрела на розу не моргая. На ее безучастном лице лишь слегка обозначилась вялая улыбка. Она как бы внезапно лишилась всего своего тела: осталась одна пустота, в которой не было ничего, кроме неистовых ударов сердца. Слова ее друга Оскара Уайльда: «Я могу устоять перед всем, кроме искушения» – отдались у нее в ушах. Она протянула руку. Платон Софокл Аристотель Громов как будто несказанно удивился: он не привык еще добиваться успеха. Все всегда срывалось, ничего не шло, были одни лишь недоразумения, ошибки в препятствия, безразличие и нелепость, но он продолжал верить, нежно любить, жертвовать собой. Человечество обладало загадочной способностью вдохновлять на такую любовь, какую ни неудачи, ни словоблудие, ни шутовские выходки – ничто не может поколебать; это действительно была очень важная дама, которая могла потребовать от своих воздыхателей невозможного. Этот лирический клоун пришел сюда, чтобы выполнить свою низменную работу «того-кто-получает-по-мордам», а затем быть выпоротым и выброшенным, и вот теперь что-то вырисовывалось, упрочивалось, приобретало смысл, становилось реальностью. Лицо его просияло, он тут же отдал ей розу, вздохнул с облегчением, хитровато и наивно улыбнулся, смело подошел к столику и, потирая ладони, налил себе бокал хереса.

– За красоту жизни! – сказал он, поднимая бокал. – За человечество без классов, без рас, без партий, без господ, по-братски объединившееся в справедливости и любви.

– Так что там за послание? – строго спросила Леди Л. – Лучше скажите мне все, мой друг, отступить слишком поздно. Говорите, иначе я велю высечь вас так, что вы проклянете все на свете. Что это за пресловутое послание, от кого оно? Я жду.

Платон Софокл Аристотель, казалось, совсем растерялся. Какое-то мгновение он моргал, держа в одной руке графин, в другой – бокал, затем, еще немного поколебавшись, начал говорить с какой-то отчаянной решимостью, как человек, который прыгает в воду, не зная, выплывет он или нет. Двоим из его приятелей – борцам за святое дело, прошедшим восемь лет в тюремной камере, – удалось бежать и добраться до Англии, где они надеются найти поддержку и защиту. Ранее им будто бы было дано обещание. . . Поэтому они решили, что ее светлость, быть может, даст у себя костюмированный бал ровно через две недели. . . Нечто очень изысканное, очень шикарное, придут, естественно, и дамы, увешанные самыми дорогими украшениями, – один из тех вечеров, что умеет устраивать только ее светлость, – вальсы и фейерверки, паштет из гусиной печени, шампанское и бутерброды с куропатками, – короче, он никогда не стал бы давать советов, тем более приказывать, простой почтовый ящик на службе человечества, он передает послание, и только. . . Некоторые оказавшиеся в данный момент без всяких средств к существованию люди могли бы присоединиться к маскараду и. . .

Он умолк, опустошил еще один бокал хереса, обернулся, явно напуганный тем, что сказал и сделал. Леди Л. быстро соображала. К полному отсутствию страха примешивалось ощущение радостного нетерпения, почти восторга: она вновь увидит наконец Армана, все остальное – суета.

– Это был поистине восхитительный момент, Перси. Я вдруг решила, что все мне будет наконец возвращено. Мы вместе отправимся в Сорренто, или Неаполь, или, может быть, еще дальше, в Стамбул, о котором так красочно рассказывал мне во время одного из ужинов наш посол в Турции. В каике на Босфоре, с Арманом, можете вы представить что-нибудь более упоительное! В моем нынешнем положении я могла дать ему все, окружить его такой роскошью, какую только можно себе вообразить, могла содержать его так, как он того заслуживал, обеспечить ему достойное существование. Разумеется, я хорошо знала, что время от времени придется кого-нибудь убивать – из-за моих связей я бы все-таки предпочла, чтобы это был президент республики, а не король, – придется иногда прерываться, чтобы взорвать мост или пустить под откос поезд, но и это тоже было роскошью, какую я теперь могла себе позволить, ничем особенно не рискуя: никому и в голову не пришло бы подозревать меня. Я на него еще немного дулась: забыть восемь лет одиночества, на которые он меня обрек, было нелегко; воистину, он поступил со мной жестоко, и вы можете, если хотите, обвинить меня в легкомыслии и слабости, но я была готова все простить. Сквозь робкие и сбивчивые фразы Громова мне ясно виделась приказанья Армана: речь шла о том, чтобы обобрать весь Лондон, лишив его драгоценностей, и мне поручалось составить список гостей. Я словно услышала ироничный голос Дики, нашептывающий мне НА ухо: «Итак, учитывая, что выбора у нас нет, попытаемся хотя бы немного поразвлечься. . . »

Из концертного зала продолжали доноситься отголоски Скарлатти. Подвыпивший Громов покачивал в такт музыки головой и размахивал своим бокалом. Затем музыка смолкла, и грянули аплодисменты.

– Вы говорите, их двое?

– Двое. Один – высокий.» очень известный человек, другой – совсем низенький ирландец с кривой шеей. Их было трое, но один умер в тюрьме. . .

– Бедняга, – сказала Леди Л. – Что ж, все это очень интересно. Передайте им, что я подумаю. Жду вас здесь на следующей неделе. Войдете через дверь, не прячься, да оденьтесь получше. Держите. . .

Она сняла с пальца кольцо и протянула ему.

Он поставил пустой бокал на столик, поклонился и направился к окну. У него было плоскостопие. Перед тем как выйти, он обернулся, вздохнул и вдруг почувствовал сам себе:

– Бедняга Громов! Никогда он не выходит через дверь, всегда через окно и всегда в темноту!

Сказав это, он исчез.

Леди Л. откинула голову. В гостиной возобновилась музыка, издали доносились аккорды Шумана. Легкая улыбка скользнула по ее губам, а ее полуприкрытые глаза смотрели на розу из красного тюля, которую она держала в руке.

Глава XII

Поэт-Лауреат сидел, выпрямившись, в викторианском кресле, расшитом великолепным орнаментом с изображением львов, щенков, ланей и голубей, умильно перемешанных в уютной неге земного рая. Сэр Перси никогда раньше не заходил внутрь летнего павильона и сейчас бросал по сторонам опасливые, слегка осуждающие взгляды. Здесь царил крайне неприятная атмосфера. Стояла, к примеру, большая, просто до неприличия огромная, отделанная позолотой кровать – восточная, благоухавшая гаремом, с висевшим над ней балдахин и, главное, зеркалом, которому там было совсем не место. Он старался не смотреть на нее, но проклятое ложе буквально кололо глаза, а зеркало даже как будто цинично ухмылялось. Впрочем, все здесь отдавало сомнительным вкусом, место выглядело странно, даже непристойно. Повсюду висели портреты усатых и бородатых воинов, очевидно турок, склонившихся над изнемогающими пленниками, русские иконы, на которых нарисованные углем черты угрюмого молодого человека необычайной красоты заменили лица святых, маски, наргиле, испанское платье другой эпохи на манекене из ивы, несметное количество мягких подушек, а также любопытная ширма, полностью изготовленная из игральные карт: сотни склеенных между собой пиковых дам как бы сверлили вас мрачным взглядом, полным зловещих предзнаменований. Повсюду были также морды ручных животных Леди Л., непочтительно изображенные поверх человеческих лиц на фамильных портретах Лорда Л. Собаки, кошки, обезьянки, попугаи в костюмах придворных гордо взирали на сэра Перси Родинера с высоты своих позолоченных рам. Это было любимым времяпрепровождением Леди Л.: не раз он видел, как она проводила целые часы, рисуя только что издохшего щенка на физиономии какого-нибудь выдающегося предка своего супруга. Кошки в доспехах, кошки верхом на лошадях в мундирах бенгальских уланов, кошки в адмиральской форме на капитанских мостиках в Трафальгарском сражении, наблюдающие за неприятельским флотом в подзорную трубу, козы в мундирах и меховых шапках гвардейцев-гренадеров, гордо держащие пожелтевшие перга менты, на которых еще можно было различить благородный девиз «Я не уступлю», величественные попугаи с важными чертами прабабушек, ангельские головки приплода котят, нарисованные на фотографии группы ее внуков рядом с няней, превращенной в мартышку, и великолепный черный кот, представленный в чрезвычайно дерзкой позе, на коне, сабля наголо, крепко сжимающий своим сладострастно изогнутым хвостом знамя одного из самых прославленных полков Ее Величества.

– А вот это, – заметила Леди Л., – моя любовь Тротто ведет в атаку легкую кавалерийскую бригаду в Крыму. Знаете, это один из самых славных эпизодов нашей истории.

Сэр Перси бросил на нее осуждающий взгляд. Леди Л. сидела в высоком кресле перуанского барокко, отделанном пурпуром и позолотой; верх спинки имел форму львиной морды, а подлокотники оканчивались когтистыми лапами. Она выглядела немного взволнованной, как всегда, когда воскрешала в памяти кого-нибудь из своих дорогих усопших. Поэт-Лауреат вращал головой по сторонам с суровым видом храбреца, он был настороже. Ему никак не удавалось справиться с ощущением опасности, скрытой угрозы. В атмосфере домика было что-то гнетущее, чуть зловещее. Отчасти это, наверное, можно было объяснить нехваткой свежего воздуха, так что отчетливо ощущалось физическое присутствие и старчески сухой запах каждого покрытого слоем пыли предмета, каждого лоскута ткани, каждого куска дерева; ставни были закрыты, и тусклый свет, которому удавалось проникнуть внутрь, только подчеркивал необычность комнаты и странность загромождавших ее предметов. Мысль о некоей затаившейся опасности казалась совершенно нелепой, и тем не менее отвергнуть ее было трудно.

Сэр Перси Родинер вдруг задался вопросом, не использовали ли друзья-анархисты Леди Л. этот павильон для хранения бомб. Место для этого было самое подходящее: взрывчатку можно было спрятать где угодно – в занзибарском шкафу, инкрустированном слоновой костью и перламутром, или же в черном и приземистом, обитом медью сейфе, который Глендейл привез из одного из своих путешествий по Востоку – банкиры Мадраса имели обыкновение хранить в таких свое золото.

– Ясно, – проворчал он, пытаясь скрыть растущее чувство тревоги. – И что же вы сделали потом?

Теперь он верил каждому ее слову: сама атмосфера придавала оттенок достоверности этой истории. Он снова украдкой взглянул на кровать: чрезвычайно неприятное ложе, которому совершенно нечего было делать в Англии.

– Это тунисская кровать, – пояснила Леди Л. – Я сама купила ее в Кайруане. Раньше она стояла в гареме Бея и. . .

– Что вы сделали потом? – перебил ее сэр Перси, спеша уберечь себя от неизвестно каких подробностей, которые могли еще на него обрушиться.

– Две недели на то, чтобы подготовить хороший костюмированный бал, – это очень мало. Так что мне действительно пришлось потрудиться. В довершение всего принц Уэльский милостиво сообщил нам о своем намерении провести у нас выходные, возвращаясь из Вата, что предполагало не менее двадцати человек свиты, в том числе, разумеется, и мисс Джонс, а также два дня, потерянных на пустую болтовню и угодничанье. Конечно, у меня было сто сорок человек прислуги, не считая мужа, но я все же лично должна была следить за тем, чтобы Эдди ни в чем не испытывал неудобства, чтобы скрупулезно, под видом этакой приветливой непринужденности, соблюдался этикет – ну, в общем, за всеми правилами игры. Ужасная скучища. Но я пребывала в неменяемом состоянии счастливого нетерпения: скоро я снова увижу Армана, а все остальное, как я вам уже говорила, было не в счет. Я думала и гадала, как он перенес нашу жестокую разлуку, найдет ли он меня сильно изменившейся или нет, по-прежнему ли он любит человечество с той всепоглощающей страстью, что оставляла для меня так мало места в его сердце, или, быть может, моя соперница утратила в его разочарованных глазах хотя бы часть своего обаяния после урока, который она ему преподнесла. Я не слишком могла на это рассчитывать, но все-таки даже самые великие поэты в конце концов устают от луны, и в отдельные моменты я ощущала полную уверенность, что он заключит меня в объятия и нежно попросит прощения за зло, которое причинил мне. Я потратила уйму времени на то, чтобы составить список гостей для моего бала, стараясь вспомнить всех тех, кому я должна была отдать долг вежливости, так, чтобы никого не забыть и не обидеть, и нужно признать, мне приятно было думать, что некоторые из самых наглых моих приятельниц лишатся своих украшений. Впрочем, у меня не было выбора. При малейшей попытке сопротивления с моей стороны Арману стоило сказать лишь одно слово и сорвать завесу с моего прошлого, чтобы разразился скандал. Ну и чудесно: это избавляло меня от самокопания и от нравственных дилемм. Карусель завертелась, отступать было поздно, да и я, признаться, рассчитывала на успех. Меня, правда, несколько смущало, что я снова увижу Саппера, я чувствовала себя гораздо более виноватой перед этим человечком, нежели перед Арманом: Армана-то я страстно любила, Саппер же восемь лет просидел в тюрьме ни за что ни про что. Я была сама любезность с принцем Уэльским, которого, похоже, это весьма порадовало. Мой муж лелеял тогда надежду стать послом в Париже, и Эдди, недавно помирившийся со своей матерью, несомненно, мог оказать ему неоценимую помощь. Так что я была полна решимости сделать для этого все, что было в моих силах. Впрочем, должна признать, меня весьма привлекала перспектива стать женой английского посла в Париже: я говорила себе,

что забавно будет увидеть Париж под столь непривычным углом зрения. Кстати, Париж едва ли не единственный город, где государственные дела можно с успехом совмещать с делами сердечными, а если бы Арман согласился хоть на некоторое время выкинуть из головы свои идеи, мы могли бы провести вместе несколько поистине счастливых лет. Я собиралась поселить его в скромном особнячке, обеспечить ему безбедное существование, чтоб он не знал никаких материальных забот, и даже если бы он захотел потихоньку продолжать свою политическую деятельность, я могла бы оказаться для него весьма полезной, при условии, что мы не стали бы впадать в крайности и вели бы себя скромно. К тому же я надеялась, что, пообщавшись в тюрьме с проходимцами разных мастей, он излечился от своего идеализма, что они привили ему хоть чуточку здравого смысла, как-то повлияли на него: будущее и вправду виделось мне в розовом свете. Я могла бы даже помочь ему стать депутатом. Мне только что исполнилось двадцать пять, и я еще была полна иллюзий. Я сгорала от нетерпения, и муж несколько удивился, обнаружив, что я брожу как неприкаянная по дому, с потухшим взглядом, с мечтательной улыбкой на губах. Я чувствовала себя такой счастливой, что порой целовала его ни с того ни с сего и нежно сжимала ему руку. Ему такое и во сне не снилось. Бывало также, я, проснувшись, тотчас бежала в спальню сына. Я крепко обнимала его, прятала свою счастливую улыбку в его кудрях, покрывала его поцелуями: как жаль, что он еще недостаточно взрослый, мне бы так хотелось все ему рассказать, я не сомневалась, что он бы все понял и простил. Насмешливый взгляд Дики, казалось, преследовал меня повсюду, куда бы я ни шла, и я чувствовала, что он всецело меня одобряет.

Громов снова явился ко мне, на сей раз вполне благопристойно, смело войдя через широко распахнутую дверь среди бела дня. Мы вместе обговорили все детали. Было решено, что беглецы переоденутся в павильоне, когда стемнеет, и смешаются затем с моими гостями; я изрядно позабавилась, подбирая им наряды. Для Саппера я попросту приготовила костюм жокея: черную шапочку и оранжевую куртку – цвета моего мужа. Для Громова – рясу францисканского монаха, которая, на мой взгляд, прекрасно сочеталась с его внешностью. И признаюсь, я не без некоторого умысла выбрала для Армана белый парик и придворное платье маркиза времен Людовика XV: благородство души представляет не меньшую ценность, чем благородное происхождение, и мне казалось, что тем самым ему воздаются почести, которые он заслужил по праву. Бывший баритон «Ковент-Гардена» почтительно меня выслушал, держа в руке свой котелок, бросая недоверчивые и испуганные взгляды на принца Уэльского, прогуливавшегося по лужайке с моим мужем. Видя его здесь, стоявшего на огромных, плоских, как у пингвина, ступнях, кланяющегося при каждом приказании, которое я ему отдавала, я подумала, что после небольшой тренировки из него наверняка получится превосходный метрдотель – как раз то, в чем я в данный момент очень нуждалась. Но мне пришлось отказаться от этой идеи, я вспомнила, что он слишком много пьет.

Глава XIII

Гости сошли с поезда на Витморском вокзале, где с самого утра их поджидали экипажи. Прохладительные напитки были поданы на лужайке под великолепным шатром, разукрашенным сюжетами, часто встречающимися у Дандало: амур с пухлыми розовыми попками, юные боги, летящие на своих крылатых колесницах, – очаровательный мир, полностью лишенный серьезности и тени, мир, фривольность и беспечность которого выглядели как вызов розового черному, нежно-голубого кроваво-красному. Как далеко все это было от высокого искусства, насаждавшего в храмах культ страдания и превращавшего музеи в места агонии.

Около семи часов все отправились переодеваться, и на этажи тотчас хлынула волна слуг, нагруженных тюрбанами, париками, плащами и шпагатами, в то время как раздраженные голоса требовали то щипцы для завивки, то потерявшиеся манжеты. Большинство гостей привезли прислугу с собой, некоторые, боясь быть застигнутыми, врасплох, вызвали даже своих личных парикмахеров и костюмеров.

Леди Л. облачилась в наряд герцогини Альбы, портрет которой занимал почетное место над парадной лестницей; перед тем как спуститься в танцевальный зал, она задержалась на мгновение возле легендарной герцогини и с безмолвной, но пылкой молитвой обратилась к той, которая умела любить так самозабвенно и порой так жестоко. Лорд Л. после долгих колебаний выбрал костюм венецианского дожа, и она не удержалась от улыбки, вспомнив, что все дожи Венеции были на самом деле повенчаны со скрытым и глубоким морем.

В десять часов начало сказываться действие шампанского – это чувствовалось по возбужденным голосам и взрывам смеха; арлекины, волхвы и восточные принцы болтали о пустяках с Шехерезадами, пастушками и Британиями у трех длинных стоек, метров по двадцать каждая, за сервировкой которых следил сам месье Фортнум, в то время как цыганский оркестр, с боем похищенный из кафе «Ройяль», наигрывал степные мелодии, которые возбуждают аппетит и великолепно гармонируют с закусками. Леди Л. расхаживала среди гостей, возбужденная и счастливая, едва прислушиваясь к тому, что ей говорят; ее взгляд скользил по маскарам, фальшивым носам, маскарадным костюмам: он должен был быть уже здесь. Она искала его среди конкистадоров, Дон-Жуанов, захмелевших Великих Инквизиторов и золотобородых Фараонов. Она еще немного на него злилась – ведь он поступил с ней так жестоко, лишив своей ласки на целых восемь лет, – и наверняка он тоже злится и снова, вероятно, захочет преподать ей урок, отчитать ее – он так хорошо умел это делать, – но она была уверена, что все забудется после первого же поцелуя. Она обошла зеленую гостиную с попугаями, где сотни красных, зеленых, синих, желтых птиц порхали по стенам, забираясь под самый потолок, в то время как маленькие обезьянки с черными мордашками резвились в приветливых итальянских джунглях и, казалось, были готовы прыгнуть на люстры, прически, декольте, прошла в большой танцевальный зал, где только что закружился веселыми вихрями на плитках из черного и белого мрамора первый вальс, она блуждала с веером в руке, как одна из тех механических кукол, что вращаются по кругу под стеклянным колпаком своей музыкальной шкатулки, и вдруг увидела его: он стоял в проеме двери-окна, выходящего на большую террасу, между францисканским монахом с лицом испуганного младенца и неподвижным жокеем со скошенной набок головой. Скачущая фарандола персонажей *commedia dell'arte*, как бы сошедшая с полотна Тьеполо, на мгновение разделила ее с ним залпом конфетти, а затем взгляды их снова встретились, и она, вытянув руку, приветливо улыбаясь, двинулась к маркизу в шелковом

платье и белом парике, который уже галантно кланялся ей. Костюм ему был в самый раз: она хорошо помнила его тело.

– Арман Дени в придворном платье, – сказала Леди Л. – Это выглядело уже как достижение. Фотографов тогда еще, к сожалению, не было. Я не сдержалась и, пока мы танцевали, нежно погладила его кончиками пальцев по затылку, и мне думается, ему вряд ли пришлось по вкусу мое фривольное обращение с мочкой его уха, когда я легонько прикасалась к ней губами: знаете, он вовсе не был создан для галантных игр. Но я испытывала непреодолимое желание наказать его, я бы все отдала, чтобы только вынудить его выйти за пределы своей вселенной и заставить жить как на картине Фрагонара. Он не изменился, был по-прежнему так же красив, особенно когда возмущение, злоба, неистовая страсть придавали его взгляду дикую необузданность, которая ему так шла. Он и в самом деле был *чересчур* хорошенький. Я заметила также, что он выпил: раньше такого с ним никогда не случалось. Что ж, все-таки восемь лет в тюрьме, у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить над человеческой природой, быть может, она казалась ему не столь прекрасной, не столь привлекательной теперь, после того как показала, на что она бывает иногда способна. . . В голосе появились хриплые, сиповатые нотки, а в глазах – выражение усталости, негодования, жестокости, другому не скажешь, своего рода горячность, протест. Словом, я была уже почти готова вообразить, как лет через десять – пятнадцать он будет сидеть с бутылкой красного вина под мостом Сены, забытый и презираемый «ею» – важной дамой, которую он так любил, своею далекой принцессой, нашедшей среди новых поклонников новых возлюбленных, которых она заставит страдать, – и останется от анархиста один пшик. Вы не можете представить себе, дорогой Перси, что я чувствовала. Это выше вашего понимания. Боюсь, что вы не экстремист, терроризм для вас – это что-то, не так ли, что происходит в Испании или на Сицилии, всего факт политических страстей. . . Вам этого не понять. Желание растерзать его, растерзать саму себя, принадлежать ему целиком, без остатка, полностью подчиниться. . .

Она замолчала. Тщательно избегая смотреть на нее, Поэт-Лауреат уставился в невидимую точку пространства. Один Бог знает, какую нежность, какое сожаление мог он увидеть на этом лице, которое, как ему думалось, он все-таки знал достаточно хорошо и каждая черточка которого своей, казалось, неподвластной бурному натиску времени молодостью и чистотой словно бросала вызов самим законам природы! Глаза у Леди Л. были закрыты. Она улыбалась. Она пойдет в своем отрицании до конца, чтобы еще больше его разозлить, чтобы вновь высечь молнию из этого взгляда, услышать жалобную интонацию в голосе, чтобы еще глубже вонзить свои когти в его плоть и кровь.

– Примите мои комплименты, мадам. В предательстве вы восхитительны. . .

Они образовывали такую прелестную пару, что шуты, феи, Нельсоны, Бонапарты и Клеопатры, в вихре вальса кружившиеся вокруг них на напоминавшем шахматную доску мраморном полу, замедляли движение, чтобы полюбоваться герцогиней Аль-бои, радостно улыбающейся в объятиях одного из придворных Людовика XV в наряде из белого шелка; и хоть никто его не знал, каждый жест его носил следы той природной утонченности, которую сразу замечают люди благородного происхождения, а его мужественная красота возбуждала любопытство и раздражение мужчин.

– О! Арман, Арман. . .

– Ладно, ладно. На нас смотрят. Будем говорить друг другу приятные вещи.

– Послушай. . .

– Какая невинность во взгляде, какой удивленный вид. . . Отлично сыграно. Знатная да-

ма, чего уж там. Настоящая дворянка: донесла на революционеров, выдала полиции, как и полагается. Ложь, лицемерие, предательство. Спору нет, светская женщина.

– Арман. . .

– Да, Арман. Бордель вовсе не обязательно делает женщину шлюхой, но если прибавить немного роскоши, красоты, шика, то ею можно стать очень быстро, не так ли? И начинаешь продавать себя, продавать друзей. . .

– Это не я.

Что за наслаждение было видеть, как он лезет из кожи вон, слышать, как он ворчит сквозь зубы, чувствовать это негодование, почти отчаяние, которое так ему шло. Она нежно сжала его руку:

– Ты красив, знаешь. . .

– Мести не предвидится, успокойся. Тебе нечего бояться, ты нам еще нужна. К тому же месть – это, на мой вкус, слишком личное удовольствие, слишком эгоистичное. Я не в счет, ты не в счет, мы преходящи, мимолетны, как этот вальс. . . Гораздо важнее то, что повсюду торжествуют наши враги, что наши типографии закрыты, наши активисты разогнаны и лишены средств к существованию, и это в то время, когда правители и торговцы пушками готовятся вести народы на бойню, а Социалистический Интернационал в белых перчатках своими обещаниями сладкой жизни для послушного пролетариата выбивает у нас почву из-под ног. . . Нам нужно много денег. Теперь, когда ты стала настоящей шлюхой, ты действительно будешь нам полезна. . .

– Глендейл следил за каждым твоим шагом, он был в курсе, это он. . .

– Хватит, я сказал. Когда ты раздевалась, чтобы обслужить клиента, ты не приносила большого вреда. . . Люди приносят вред вовсе не тем, что снимают трусы. Это буржуазная мораль. Нет, для настоящих мерзостей люди одеваются. Натягивают даже мундиры, сюртуки. Никто никогда не приносил большого вреда с голой задницей. . .

– Арман. . .

– Да, Арман. Давай. Говори. Выкладывай уж все до конца. «Арман, я тебя люблю». Знакомый мотивчик, где его только не играли. «Кармен» Бизе, великая опера, вот куда ходит добропорядочное общество, чтобы опьянеть ее звонкой пустотой, чтобы под ее косметикой скрыть свое уродство. . . «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. . .» Знаем. Видали. Уразумели. Восемь лет в тюрьме не прошли зря. . .

– Это Глендейл тебя. . .

– Лги. Не стесняйся. Потому что скоро тебе придется лгать так, как ты никогда прежде не лгала, и это еще мягко сказано. . . Тебе предстоит поистине большая игра. Останешься там, где ты есть, среди своих Ротшильдов и Ульбенкянов, своих герцогов и милордов, но работать будешь на нас, будешь служить забытым всеми массам, человечеству, невидимому с тех вершин, на которые ты взобралась. . .

Он не изменился. «Она» оставалась в его глазах по-прежнему такой же красивой. Он любил «ее», как и прежде. «Она» могла делать все что угодно, он всегда найдет ей оправдание и алиби. Ее преступления, ее гнусности, ее подлые поступки и ее жестокости он относил за счет класса, среды, общества. Человечество было вне подозрений. Очень важная дама с престижным именем, которую ничто не могло ни задеть, ни запятнать. Но его раскатистый голос был по-прежнему так приятен, а слова значили так мало. . .

– Арман. . .

Шампанское, вальс, смятение – все это кружило ей голову. Леди Л. сама уже не знала, на каком она свете. Настоящей пыткой для нее было держать себя в руках, не прижиматься к нему, не позволять своему взгляду любовно скользить по знакомым чертам и счастливо

улыбаться. Неужели она и есть та самая Леди Л., которой восхищались, которую уважали, лелеяли и втайне любили по меньшей мере пятеро мужчин в этом танцевальном зале? Или же она еще была Анеттой, готовой пойти на любой риск и совершить любое безумство, чтобы только вырвать у жизни еще один пленительный миг преступного счастья?

– Арман, пойдём отсюда. Уедем. Уедем немедленно. Увези меня.

– Поворковали – и довольно. Ты останешься здесь, на своем пьедестале, будешь работать на нас.

Вальс кончался, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, что он ей говорил: он найдет ее в бильярдной после следующего танца; затем, когда праздник будет в самом разгаре, Арман, Громов и Саппер пройдут по этажам и соберут драгоценности. Они расстались, и она, сделав несколько шагов на мраморном полу, остановилась, чтобы выпить бокал шампанского, вежливо слушая сэра Уолтера Донахью, наряженного червонным вальтом и выбравшего этот момент, чтобы поговорить с ней о Лессепсе и его Панамском канале, затем поспешила в комнату сына. Лунный свет ласкал заснувшее лицо, а рука поверх одеяла сжимала Петрушку со вздернутым красным носом, уставившегося на нее своими хитроватыми глазками. Почти в диком порыве склонилась она над ребенком, прильнула губами к горячему ушку. Он шевельнулся, повернул голову, не проснулся. Но стоило Анетте почувствовать на своей щеке это нежное дыхание, как к ней тотчас вернулись и ее решимость, и ясность ума; когда она вернулась к гостям, в ее походке, во всех ее движениях сквозила та уверенная непринужденность, которую так часто и совершенно несправедливо называют «королевской».

– По существу, я оставалась еще простолюдинкой, – сказала Леди Л. – Я еще не стала настоящей дамой высшего света, к счастью. Это меня и спасло. Я оставалась еще очень близка к природе, и всякий раз, когда передо мной заговаривают о самке, защищающей своего детеныша, – у Киплинга написано много забавного на эту тему, – я знаю, что сделала нечто ужасное, но знаю также и то, что мне не в чем себя упрекнуть.

В зеленой гостиной с попугаями Мефистофель, небрежно поигрывая хвостом, рассуждал о политике с Джоном Булем в цилиндре, который словно сошел с карикатуры из «Шаривари»*. Арабский принц, оказавшийся голландским послом при Королевском дворе, высказывал свое мнение о ситуации в Трансваале худшему пирату с черной повязкой на одном глазу и кроваво-красным платком на голове – Сент-Джон Смит, постоянный секретарь Министерства иностранных дел. Председатель трибунала «Банк дю Руа», один из самых строгих и грозных судей своего времени, явился в костюме Казановы, что Леди Л. сочла весьма трогательным; потягивая шампанское, он болтал с францисканским монахом, который отчаянно пытался отвести глаза в сторону, чтобы не встретиться взглядом с судьей.

– Да, Ваша Честь. . . В этом вопросе я абсолютно с вами согласен, Ваша Честь, – лепетал несчастный Громов хриплым, механическим голосом, явно не слушая то, что объяснял ему судья.

– Как сказал мне однажды Дизраэли. . . Он очень толково все объяснил. . . Словом, что бы он мне ни сказал, он был абсолютно прав. . . Великий человек Дизраэли, бесспорно. Мы с ним вместе стреляли перепелов в Шотландии. . . или то были куропатки? Во всяком случае, только в охотничий сезон. Строго по закону. Никогда в жизни не занимался браконьерством, честное. . . слово. Я всегда говорю: закон надо уважать, если хочешь, чтобы закон уважал тебя, вот так-то. . .

*«Шаривари» – сатирическая газета, выходившая в Париже с 1832 года.

Громов попятился и, почти задыхаясь, спрятался за спиной Леди Л.: лицо его взмокло от пота, а глаза, казалось, плавают в маслянистой жидкости.

– Это уже слишком, я дрожу как осиновый лист. . . Тот человек, что на меня смотрит, судья, вплепил мне три года тюрьмы за оскорбление Короны после демонстрации против королевы, прошедшей в дни празднования шестидесятилетнего юбилея ее царствования. . . Он уверен, что где-то меня уже встречал. . . Мое сердце не выдерживает таких нагрузок» я перестаю что-либо видеть, перед глазами туман, жуткий страх, это конец, говорю я вам. . . Не так со мной надо обращаться. . . Я – последний анархист, оставшийся в Англии, могли бы меня и поберечь. . .

В бильярдной Арман мило беседовал с тремя дамами, одна из которых нарядилась Марией-Антуанеттой, другая – Жанной д'Арк, а третья – Офелией, если только не Джульеттой. «Как бы там ни было, – подумала Леди Л., – каждой из них на двадцать лет больше, чем требуется для этих ролей». Наконец Арману удалось отвязаться от них, и он подошел к ней. Они вышли на террасу и остановились у края темноты. Веселый, быстрый, женственный вальс рождал у них за спиной взрывы смеха и возгласы, и самой своей легкостью как будто потешался над всеми тяготами мира.

– Все готово?

– Я оставила сумочку у себя в спальне. Со своими драгоценностями. Второй этаж, последняя дверь направо. Возьми их. Там целое состояние: круглый год можно ничего не делать, только убивать. Но других не трогай. Это слишком опасно.

– Вас не позабавит, мадам, если ваши лучшие подруги лишатся своих украшений?

– Меня бы это очень позабавило, дорогой, но нельзя же все время только смеяться. . .

Леди Л. подставила лицо и грудь ночному ветерку, пытаясь в его свежести найти хоть какое-то успокоение.

– Арман, Арман, неужели у тебя никогда не возникало желания пожить немного для себя?

– Возникает постоянно, однако надо уметь сдерживать свои порывы.

– Быть счастливым?

– Я только об этом и мечтаю, но мне нужна компания единомышленников.

– Кстати, сколько людей живет на земле? Миллиард? Два?

– Скоро они напомнят тебе о своем существовании и точном количестве.

– Возьми драгоценности. Ограбь моих гостей. Только оставь часть себе. Уедем вдвоем, ненадолго. В Индию, в Турцию. . .

– Решительно, ты так никогда ничего и не поймешь в любви.

В голосе прозвучали почти жалобные нотки. Она вспомнила, что однажды сказал ей единственный настоящий террорист, которого она знала: «Ваш возлюбленный – пожиратель звезд, принимающий себя за общественного реформатора. Он принадлежит к древнейшей аристократии земли – роду мечтателей-идеалистов. Он восходит прямо к “La Morte”^{*} Артура и рыцарям, странствующим в поисках Грааля, тайну которого он, по его мнению, раскрыл в “Основах анархии”. Они тоже много убивали в эпоху волшебника Мерлина, хотя драконы были иными. Жажда абсолюта – феномен, кстати, очень интересный и достаточно опасный: это почти всегда выливается в кровавые боины. Он один из тех пылких обожателей человечества, которые в порыве ревности уничтожат в конце концов предмет своего обожания». – «Да, дорогой Дики, вы тысячу раз правы, но он так красив!» – «Что ж, попросите Болдини написать его портрет в костюме лунного Пьеро и располагайте остальным по своему усмотрению».

^{*}Имеется в виду произведение Т. Мэлори «Смерть Артура», в котором собраны различные легенды о короле Артуре.

Однако все эти насмешливые колокольчики, которыми она так хорошо научилась брэнчать у себя в ушах в попытке приглушить идущие из глубины отчаянные звуки жизни, все эти словно сфабрикованные позы и жесты, которые она пыталась сделать своей второй натурой, надеясь забыть ту первую, настоящую, все эти куртуазные уловки потерпели крах перед потребностью сохранить, завладеть, повернуть к себе эту красоту, что была в нем и что предназначалась другой – сопернице с миллионами безвестных лиц; и вдруг она ударила по каменной балюстраде веером с такой силой, что тот сломался.

– Пойдем в дом.

Глава XIV

Сэр Перси Родинер, судорожно вцепившись в подлокотник кресла, опасливо озирался вокруг себя: надо полагать, неспроста она привела его сюда, в место, где он отнюдь не жаждал быть увиденным. Где-то были спрятаны стенные часы, очевидно за той ширмой, усеянной откровенно зловещими пиковыми дамами, и их неумолимое равномерное тиканье словно предвещало приближение какой-то роковой минуты: после всех этих ужасных рассказов о террористах и взрывающихся бомбах казалось, что запущен некий дьявольский часовой механизм и что в любой миг эта противоестественная декорация может внезапно взлететь на воздух прямо у вас на глазах. Атмосфера павильона отдавала чем-то постыдным, сомнительным и волнующим кровь, и невозможно было ничего поделаться ни с охватывавшим вас чувством нездорового любопытства, ни даже с желанием дать полную волю своим фантазиям. На стенах, к примеру, висели картины, явно оскорблявшие вкус: светловолосые женщины, возможно даже англичанки – хотя груди у них были полностью обнажены, – млеющие в объятиях усатых и загорелых любовников на берегу Босфора; рисунки, сказать про которые, что они «смелые», означало бы недостаточно передать их сущность; две-три гравюры, которые вряд ли стоило рассматривать в деталях и которые можно было только определить как «французские»; темнокожие всадники, увозящие на лошадях белых, пожалуй, излишне уступчивых пленниц; любовники, обнимающиеся на всех широтах – в русских санях на снегу, на классических итальянских балконах, в классическом лунном свете, – и даже сам воздух, казалось, был насыщен их поцелуями. Глядя на все это, Поэт-Лауреат укоризненно качал головой, и оттого, что Леди Л. с ехидной улыбкой наблюдала за ним, ощущал еще большую неловкость. Впрочем, все это барахло ничего не стоило, и трудно было даже предположить, какое тайное сокровище она здесь скрывала и что он должен был помочь ей вывезти из этого павильона, которому грозило – и совершенно заслуженно, сэр Перси был теперь в этом абсолютно убежден, – неминуемое разрушение. Единственным холстом, имевшим хоть какую-то продажную цену, была картина Фрагонара, изображавшая одалисок во время купания. Поэт-Лауреат не знал, что Фрагонар использовал в своем творчестве восточные мотивы. Он полагал, что его непристойность ограничивалась рамками одной Франции.

– Я и не знал, что вы коллекционируете такого рода... хлам, – сухо заметил он.

Леди Л. играла концами индийской шали, что окутывала ее плечи. Она смотрела куда-то в сторону и нежно улыбалась; проследив за ее взглядом, сэр Перси наткнулся на морду одного из ее любимых животных в красивой позолоченной раме: огромный полосатый кот в матросском костюме с синим воротником и красным помпоном на голове. Он с грустью подумал, какая канарейка или какой попугай появится однажды на месте его собственной физиономии, когда придет и его черед пополнить ряды ее дорогих усопших.

– Некоторые из предметов, что находятся здесь, представляют для меня большую духовную ценность. Я бы хотела, чтобы теперь, когда павильон собираются разрушить, вы помогли мне вывезти их отсюда.

Она энергично и капризно покачала головой – жест, который ему был так хорошо знаком.

– Здесь прошла часть моей жизни, и этот хлам, как вы говорите, Перси, сделал для меня столько, сколько не сделал никто. Он помогал мне грезить... вспоминать.

«Как странно, – подумала она недоверчиво, – как странно вдруг оказаться здесь, теперь уже совсем старой дамой, и сознавать, что прошло почти шестьдесят лет, да, шестьдесят, и

что ничего уже нет, все развеялось как дым, бал окончен». Тем не менее она так явственно слышала звуки чардаша и видела пары, вихрем кружившиеся под люстрой, и цыганский оркестр с его скрипками и бубнами, и дирижера, который Бог знает почему облачился в австрийский мундир, весь разукрашенный золотом, и жокея в дверном проеме, в жокейской куртке и черной с оранжевым шапочке, с плетью в руке: склонив голову набок, он стоял в группе мужчин, которые с самым пристальным вниманием разглядывали его. Все они были изрядно пьяны. Одного из них звали сэр Джон Эват, его рысак Зефир выиграл в том году дерби.

– Позвольте, позвольте, – говорил Эват, – значит, это вы выиграли на Гарриконе последние скачки в Аскоте?

– Совершенно верно, месье, я и никто другой, – отвечал жокей слегка воинственным тоном.

– И вы также утверждаете, что на жеребце Ротшильдов, Сириусе, тоже были вы?

– Так оно и было, месье, клянусь честью! – сухо ответил Саппер. – Сириус – великолепный жеребец, месье!

– И дважды выигрывали Большой приз национального первенства?

– Дважды, месье, – сказал Саппер. – Дважды, два года подряд, это истинная правда, месье.

Трое мужчин смерили друг друга ледяным взглядом, слегка покачиваясь на ногах.

– Итак, месье, я могу вам сказать, что вы пришли сюда в костюме Саппера О'Мейли, знаменитого коротышки-жокея, который свернул себе шею двенадцать лет назад в Париже в скачках на Большой приз Булонского леса.

– Именно так, у вас превосходная память, месье.

– Славный жокей этот Саппер, – заметил Эват.

– Полностью разделяю ваше мнение на этот счет, месье, – сказал Саппер.

– Жаль, что он свернул себе шею, – сказал Эват.

– Жаль, очень жаль, месье, в самом деле, – сказал Саппер.

– Хотел бы я знать, что с ним стало потом?

– Всякое было, месье, всякое было.

– Он был лучше всех, – сказал Эват.

– Да, он был единственный и неповторимый в своем роде, месье, – сказал Саппер.

– Ну, тогда выпьем за его бедную маленькую душу, месье, – предложил Эват.

– Конечно, месье, выпьем, – сказал Саппер.

Именно в этот момент вмешался Арман – он почувствовал, что игра становится опасной. Он увлек Саппера к буфету, где они встретили Громова, который с перепугу чашку за чашкой глотал бульон, пытаясь приободриться.

– Я не могу так больше, – сказал он жалостливым тоном. – Я испытываю просто колоссальный страх, нечто изумительное, граничащее с подлинным величием. . . Прямые действия внушают мне ужас. Я всегда отдавал лучшую часть самого себя пению: оно шло из глубины сердца и души и прославляло праведные дела, но когда надо самому сунуть руку в костер. . . Я раскисаю, теряюсь, становлюсь сам не свой. Мое настоящее дело – это пение, это крик, а не пистолет. . . Уведите меня отсюда. Во мне еще есть прекрасные песни, мой голос еще способен бросать массы на штурм. . . Но это возможно, только если я останусь в живых. Я утверждаю, что хорошая поэма, глубоко запавшая в душу песнь могут принести нашему делу больше пользы, чем мое присутствие здесь. Я в таком состоянии, что, кажется, сейчас умру. . .

– Мне тоже так кажется, – сказал Арман, смерив его холодным взглядом.

Чашка с бульоном начала дрожать в пухлой ручке Громова, а его глаза увлажнились, стали как бы масляными.

– Так, пора, – сказал Арман. – Начинаем с четвертого этажа и продолжаем, спускаясь вниз.

Он повернулся к Анетте:

– Следи за оркестром. Пусть не замолкает ни на мгновение. . . Минут через сорок встретимся в павильоне.

– Постарайтесь только никого не убивать, друзья мои, – сказала Леди Л. – После этого всегда остаются пятна.

Она провожала всех троих взглядом до тех пор, пока они, смешавшись с маскарадной толпой, не затерялись в глубине Истории среди ее Карлов Великих, Брутов, Чингисханов и Ричардов Львиное Сердце. Леди Л. остановилась на мгновение перед портретом герцогини Альбы, взглянула на нее снизу вверх и спросила себя, что бы та сделала на ее месте. Но божественная герцогиня жила в другую эпоху, и ее желания, ее прихоти, ее капризы имели силу закона. Поистине, в современном мире нет места для любви. Она вздохнула, сделала едва заметный знак рукой портрету и присоединилась к гостям. Пока она переходила от одной группки к другой, по пятам за ней следовал то какой-нибудь толстяк Скарамуш, то Яго, рассуждающий о бирже, то Робин Гуды, охотно забывавшие в ее обществе о своей тучности и государственных секретах. Все были очень веселы. Ее подошел поздравить муж, как обычно, довольный всем, и в особенности самим собой.

– Ей-богу, Диана, блестящий вечер, если хотите знать мое мнение, один из лучших, они все в этом единодушны. Ваша идея оказалась великолепной. Кстати, Смити не подтвердил, что пост посла во Франции по-прежнему является предметом обсуждения. Он сказал, что вы будете восхитительной супругой посла. И вы знаете эту страну. Он обещал замолвить за меня словечко перед Королевой, но Ее Величество как будто бы не намерена учреждать этот пост немедленно.

– Еще бы, – сказала Леди Л. – Да в самой мысли иметь свое представительство в Париже нашей, дорогой Виктории видится нечто шокирующее. Париж для нее – злчное место.

Их прервала сарабанда танцующих: держась за руки, они скакали из гостиной в гостиную. Леди Л. оказалась в окружении трех итальянских *monsignori** – юных лорда Риджвуда, лорда Брекенфута и лорда Чиллинга. Эти славные ребята всеми силами пытались поддержать дурную репутацию, которую приобрел их отец во времена Регентства, не выходя, однако, за рамки благоразумного риска, стремясь показаться дерзкими, никого не шокировав, и Леди Л. была уверена, что в своих шалостях они не пойдут дальше того, чтобы выпить шампанского из атласной туфельки или нанести визит юной особе, заранее тщательно обследованной семейным врачом. Смеясь, она отделалась от них и вернулась в танцевальный зал.

Праздник начинал затухать. Усталость и шампанское брали свое. Австрийский посол, наряженный Талейраном, – о, дух Меттерниха! – посапывал в кресле, а молодого герцога Норфолка в костюме Генриха VIII с остекленевшим уже взглядом почтительно поддерживал Эдди Ротшильд.

– Заметьте, Диана, вы ни разу не станцевали со мной сегодня. . .

– Сейчас, Бонни, – пообещала она, – дайте мне немного отдышаться.

Она украдкой взглянула на итальянские часики, булавкой приколотые к ее носовому платку. Было около трех часов. Сорок минут уже давно истекли. Музыка звучала исступленно-резкими аккордами зари. Она подошла к дирижеру, пухленькому и любезному человеку с

*Монсиньори (*ит.*).

тараканьими усами и огромными глазищами, и попросила его поиграть еще с полчаса. Он вежливо поклонился, не переставая дирижировать, но некоторые из гостей уже начинали покидать бал, и она заметила миссис Ульбенкян, супругу судовладельца, – наряженная ангелом доброты, та устало поднималась по лестнице. «Господи, – подумала Леди Л., – только бы они закончили!» Сейчас, если им немного повезло, они уже должны удирать с добычей, переоденутся в павильоне, спокойно сядут на поезд, в пять часов утра отправляющийся в Уигмор, пройдет некоторое время, прежде чем прибудет полиция и начнет поиски: она сможет выиграть еще несколько месяцев, но ей стало ясно, что они уже никогда больше не оставят ее в покое, что теперь она в их руках и что рано или поздно разразится скандал. Наверное, было бы лучше предупредить его, исчезнуть вместе с ними в ночи, все бросить, если нужно, покончить с собой, чтобы мир никогда не узнал правду, чтобы у ребенка, так безмятежно спавшего в лунном свете, были только счастливые пробуждения. . .

Но она обладала слишком трезвым умом и едва ли могла одурочить саму себя. «Теперь я вот ищу оправдания своей готовности последовать за Арманом», – подумала она. Она попросила налить ей еще шампанского и заметила, что рука ее дрожит.

И тут вдруг в доме раздался пронзительный женский крик. Леди Л. показалось, что от этого крика содрогнулись стены, но вот с новой силой грянул оркестр, оживляя угасающий праздник, – нет, похоже, она была единственной, кто его услышал. Она метнулась к парадной беломраморной лестнице, остановилась там и прислушалась.

На втором этаже, едва перешагнув порог своей спальни, миссис Ульбенкян нос к носу столкнулась с жокеем и монахом в рясе, которые перекладывали содержимое ее шкатулки с драгоценностями в кожаную сумку; монах еще держал в руке ее жемчужное ожерелье. Она попятилась, позвала на помощь: этот крик ужаса и услышала Леди Л. Одна из горничных подоспела как раз вовремя, чтобы подхватить под руки лишившегося чувств ангела доброты, и в свою очередь оказалась лицом к лицу с двумя «убийцами». Она испытала такой ужас, что прошло несколько часов, прежде чем из нее удалось вытянуть хоть слово. Арман в тот момент находился в соседней комнате. Он бросился в коридор и тотчас сообразил, что ни оцепеневшая служанка, ни потерявший сознание ангел доброты не представляют для него сейчас опасности; сделав знак сообщникам следовать за ним, он направился к лестнице в южном крыле здания, быстро спустился на первый этаж и смешался с толпой гостей. Без всякого сомнения, все трое могли бы попасть в парк таким способом, однако Громов, слишком долго сдерживавший свой страх, на сей раз совершенно потерял голову. Не отдавая себе отчета в своих действиях, он думал лишь о том, как бы поскорее удрать, и, вцепившись одной рукой в кожаную сумку, а в другой зажав жемчужное ожерелье, которое только что схватил, он кинулся с низко опущенной головой к парадной лестнице, что вела в танцевальный зал. Но даже в этот момент, возьми он себя в руки, он мог бы в шуме праздника проскользнуть незамеченным, ибо никто не обратил внимания на крик, цыгане-музыканты вошли в раж, гремел «Чардаш», и со всех сторон раздавались возгласы и взрывы смеха. Но вместо того, чтобы спокойно пройти к выходу, несчастный заметался еще больше, то делая несколько шагов вперед, то возвращаясь назад на ступеньки, и наконец неподвижно замер на парадной лестнице, прислонившись спиной к стене, с перепуганным лицом, держа в одной руке сумку, в другой – ожерелье, у всех на виду. Он так был похож на застигнутого врасплох вора, что оркестр тут же перестал играть, пары застыли посередине зала, наступила тишина, и все взгляды обратились к францисканскому монаху, прильнувшему к стене в позе загнанного зверя.

Саппер, бросившийся вслед за Громовым, чтобы попытаться его задержать, появился наверху лестницы, секунду поколебался, затем отступил назад и исчез; одновременно с этим

юный Патрик О'Патрик, наряженный конкистадором, и сэр Аллан Дуглас, в костюме статуи Командора, кинулись к обмякшему, стучащему от страха зубами грабителю.

Не успели они схватить его, как знаменитый баритон принялся лепетать признания.

– Я не хотел, мне угрожали, меня заставили. . .

Леди Л. поднесла руку к груди: Громов, смотрел на нее, она чувствовала, что ее имя было уже готово сорваться с его губ и, если бы руки его были свободны, он уже показал бы на нее пальцем. Как раз в этот момент из толпы гостей появился Арман и с пистолетом в кулаке медленно и спокойно поднялся по лестнице. Громов тоже заметил Армана, слабая улыбка надежды скользнула по его губам, и, полагая, что идут к нему на помощь, он начал яростно отбиваться, пытаясь вырваться. Арман поднялся еще на одну ступеньку, и, когда Громову в последнем отчаянном усилии удалось освободиться, он поднял пистолет и выстрелил ему прямо в сердце. Выражение напряженного изумления застыло на круглом и жирном лице францисканского монаха, и он медленно осел на ступеньки лестницы.

– Дамы, господа, – сказал Арман, повышая голос, – я инспектор Лагард, французская полиция. Сегодня здесь под разными масками скрывается несколько бежавших преступников, и я должен попросить всех вас оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. Мы, к сожалению, будем вынуждены установить личности всех присутствующих. Это не займет много времени, мои коллеги из Скотланд-Ярда уже арестовали известного анархиста Армана Дени. Но нам известно, что некоторые из его сообщников еще находятся здесь. Никто ни под каким предлогом не должен отсюда выходить: мы спустили в парке собак.

Гости собирались в неподвижные молчаливые группки: можно было подумать, что около сотни восковых фигур бежали из музея Мадам Тюссо и только что вновь застыли в своих живописных позах. Арман спокойно подобрал сумку и жемчужное ожерелье, выпавшее из рук Громова, спустился по ступенькам вниз и поклонился Леди Л.

– Мадам, – сказал он, – я сожалею о том, что случилось, и крайне огорчен, что не смог этому помешать. Прошу меня простить. Через несколько минут все будет улажено.

Он снова поклонился и еле слышным голосом прошептал:

– Жду тебя в павильоне.

Легкая, едва различимая ирония отпечаталась у него на губах, когда он бросил последний взгляд на ошеломленные лица, что его окружали. Затем, с сумкой и ожерельем в руке, он не спеша направился к террасе. Леди Л. взошла на ступеньки и обратилась к гостям:

– Как я понимаю, несколько непредвиденное развлечение было предложено нам сегодня. Однако все уладится, как обычно. Маэстро, прошу вас, сыграйте что-нибудь. . .

Послышался возбужденный говор, шепот, восклицания. Затем вновь зазвучала музыка и восковые фигуры ожили. Даже те, кто перед этой грубой интермедией собирался покинуть бал, посчитали своим долгом остаться и продолжали танцевать, чтобышний раз продемонстрировать свою британскую флегматичность и помочь хозяйке дома выйти из затруднительного положения. Они просто старались не смотреть на монаха в рясе, неподвижно лежавшего на мраморных ступеньках с выражением сокрушенного изумления в застывших глазах.

Леди Л. приподняла подол платья, перешагнула через труп и поднялась к себе. Она бегом пересекла будуар, спальню и кладовую для белья и очутилась на служебной лестнице. Она была пуста, но Леди Л. слышала голоса, доносившиеся со стороны кухонь, и топот сновавших по коридорам слуг; одна горничная рыдала, другая зашлась в приступе истерического хохота, ее утешал лакей, говоривший с сильным акцентом кокни. Она сбежала по лестнице и очутилась на улице среди служебных построек. Не успела она сделать и нескольких шагов по вымощенному камнем двору, как вдруг заметила в лунном свете скорчившуюся на земле фигуру. Должно быть, Саппер пытался спуститься с четвертого этажа по водосточной трубе,

но сорвался и теперь лежал на камнях – его плеть валялась рядом, – в последний раз выбитый из седла. Она на секунду задержала взгляд на застывшей в желтой луже лунного света фигуре, затем, приподняв подол платья, побежала в сторону павильона.

Глава XV

Ночь танцевала вокруг Леди Л., размахивая своими синими покрывалами; казалось, сами облака в своем безумном бегстве разделяют ее панический страх. Она мчалась по мертвенно-бледной аллее, под каштанами, мимо пустых мраморных скамеек и статуй, то и дело оживляемых тайной игрой луны с облаками; со стороны пруда доносился лай собак; судорожная музыка неистовствовала позади нее, гналась за ней по пятам: оркестр только что заиграл «Чардаш зари» Ладоша, и дикая ночь Пешты прыгала вокруг под звуки бубнов. Мысль, что она придет слишком поздно, что он к тому времени уже исчезнет, наполняла ее почти животным страхом, весь парк как бы растворился в тревожном биении ее сердца. Она устремилась на тропу, в самую гущу царапавших ей руки, цеплявшихся за платье розовых кустов, кляня по-французски свои туфли на высоком каблуке. Она разулась и теперь уже босиком побежала к павильону, взметнувшему ввысь под Большой Медведицей свою остроконечную тень.

Кривая свеча догорала у изголовья кровати, и на стене дрожал силуэт Армана. Он стоял посреди комнаты с пистолетом в руке, в напряженной позе изготавившегося к прыжку хищника – позе, которая ей так хорошо была знакома и которая физически преследовала ее едва ли не каждую ночь; именно в таком виде являлся он ей во сне, и ее тело предлагало себя, замеров в ожидании его прыжка, который никогда не совершался; на лице застыло выражение предельного внимания, ледяной иронии; дуло пистолета твердо смотрело в ее сторону; она вдруг испытала крайне неприятное чувство, что он ей полностью уже не доверяет и даже немного ее боится.

– Это было немного оскорбительно после всех доказательств моей любви к нему, – сказала Леди Л.

Поэт-Лаурет испуганно посмотрел на нее.

Пиковые дамы на ширме продолжали буравить его мрачными взглядами. Треснувшее зеркало над восточной кроватью как бы застыло в отвратительной ухмылке; ощущение скрытой опасности усиливалось с каждым ударом невидимых часов; чувствовалось зловещее присутствие, мерзкая угроза, затаившаяся в углу. Лицо Леди Л. под прядями волос было невозмутимо, ее рука царственно опиралась на трость, в глазах искрилось лукавство.

– Да, я сразу почувствовала, что он настороже, что полностью он мне уже не доверяет. А я и вправду была готова на все – или способна на все, если хотите, – чтобы сохранить его для себя. Я даже не знаю, говорила ли во мне любовь или это была ненависть к моей сопернице, к человечеству, к этой любовнице, которой он служил с таким усердием, с такой безграничной преданностью. Он смотрел на меня так отрешенно, так иронично-холодно, так... как бы это сказать?... с таким знанием дела, вот, что я просто чувствовала себя задетой за живое: если его возлюбленная полагает, что я уже сказала свое последнее слово, что я уступлю его ей, она ошибается. Ради ее прекрасных глаз он способен на все, ничто его не остановит, из-за нее он готов пожертвовать всем, но и я тоже знаю, что такое всепоглощающая страсть, и я ему это докажу. Видите ли, я прошла хорошую школу. А он выглядел так эффектно, так шикарно – да, другого слова я не нахожу – в придворном платье из белого шелка, белого, который так ему шел, лицо его было таким красивым и таким юным, и это после всех ужасных-ужасных испытаний, пережитых за годы тюрьмы, что я на миг остановилась и улыбнулась сходству, прежде чем броситься, рыдая, в его объятия: было такое ощущение, что на меня смотрит мой сын... .

Сэр Перси Родинер отступил.

– Все это чудовищно. Чудовищно.

– Вы ничего не смыслите в экстремизме, друг мой, – несколько нетерпеливо проговорила Леди Л. – Страсть – это нечто совершенно неподвластное вашему разуму. Вместо того чтобы брюзжать, постарайтесь выучиться. В нем был такой темперамент, такая сила любви и самопожертвования, такая красота, да, красота, что я ни в коем случае не могла оставить его для другой. Всякая влюбленная женщина меня поймет. И я даже не столько хотела сохранить его для себя, сколько не могла допустить, что он достался моей сопернице.

– Арман, выслушай меня. . .

– Потом, потом. Где Саппер?

– Он мертв.

– Что, что ты сказала?

Она почти физически ощутила, как он весь напрягся, и выражение такой боли и растерянности появилось на его лице, что она вновь обрела надежду: быть может, он наконец признает себя побежденным.

– Я намеревалась либо уйти с ним немедленно, либо присоединиться к нему через несколько дней, мы могли бы принадлежать только друг другу, как когда-то в Женеве, поехать вместе с Турцию, быть может, в Индию, – Тадж Махал, вы знаете; после всего, что он со мной сделал, он просто обязан был дать мне немного счастья. . .

Леди Л. покачала головой при воспоминании о той неисправимой Анетте, о той упрямой простушке, которая до конца грезилась о счастье для двоих, о рае а золотой гондоле, о торжествующей любви». Кем она была? Субреткой с розово-голубыми мечтами в голове, любительнице балов с танцами под аккордеон. . . Впоследствии другая, тоже очень знатная дама, принцесса Алиса Баденская, сказала ей однажды, говоря о драме в Майерлинге*: «Любовь, знаете, следует оставить бедным».

Арман повернулся к кривошеей свече, которая, казалось, разглядывала его, и грустно улынулся маленькому пламени:

– Бедняга Саппер. Без него все очень усложняется. . . Он был настоящим мужчиной. Ну да ладно.

Но на этом все и кончилось: павший товарищ был не такой уж и великой потерей на фоне человечества. Он нагнулся над кожаной сумкой, зачерпнул горсть драгоценностей, рассмеялся:

– Недурно! У Ллойда будет траур. Мы сможем действовать.. Тут хватит, чтобы продержаться по меньшей мере год.

Она закрыла глаза. Она знала, что означает это «мы». «Мы» – значит «никто». Всего-навсего Свобода, Равенство и Братство с пышными усами и в котелках: они придут за ним, наденут наручники и укажут путь на эшафот. «Как странно, – думала она, нежно поглаживая его по щеке, глядя на него с ласковой враждебностью, – как странно: стоит только непомерно раздуть благородную возвышенную идею, как она тотчас становится ограниченностью ума».

– Хватит, чтобы экипировать десяток боевых групп и рассредоточить их во всей Европе.

– Да, милый. Это будет просто восхитительно.

*Майерлинг – охотничий домик в 40 км от Вены, где 30 января 1889 года были найдены мертвыми кронпринц Рудольф и баронесса Мария Вечера.

– Начнем с Вюртемберга: студенческие волнения там в самом разгаре. Важно показать обществу, что мы наносим удар, когда хотим. Трусы примут сторону угнетателей, слабых же всегда привлекает сила. Мы организуем целую серию покушений, от Елисейского дворца до Ватикана. Фарколо прав: только большим пожарам по силам победить тьму. . .

– Мы должны убить кого-нибудь немедленно, – сказала она.

Но юмор на него не действовал. Это был человек, обреченный на серьезность, воспринимавший несовершенство мира как глубочайшее личное оскорбление. Воистину он был создан для этих великих ассенизационных работ, которые приводят либо к костру Инквизиции, либо к трону Инквизитора. К сожалению, его голос, когда удавалось забыть о словах, звучал так пылко и так мужественно, что это не могло не затрагивать потаенных струн ее души. Она села на кровать и начала снимать чулки. Раздеваясь, она холодно, вызывающе наблюдала за ним: по крайней мере одного ее соперница дать ему не могла. Платье скользнуло к ее ступням – и вот она уже совершенно нагая, если не считать розы из алого тюля и мантильи на волосах. Он колебался. Он все еще немного побаивался: пистолет по-прежнему был у него в руке.

– У нас нет времени.

– Что ж, значит, поторопись, – нетерпеливо проговорила она.

Он наклонился, поцеловал ее в плечо. . . Она полностью отдалась любви, быстро, и она не могла бы с уверенностью сказать, стонала она от боли и злобы или от женского счастья, которого не испытает уже больше никогда. И никогда еще она не сопровождала свои вздохи таким количеством нежных слов и слов грубых. . .

– О! Довольно, Перси, не смотрите на меня так. Должна же я вам объяснить, как я тоже пришла к терроризму. Иначе вы осудите меня слишком строго. Да и к тому же во всем этом есть своя мораль, не так ли? Я уверена, что мой друг, доктор богословия Фишер, читающий такие замечательные проповеди, непременно бы ее обнаружил. Вот что значит жить в мире без Бога, как делали это мы, Арман и я; вот что значит абсолютизировать мир и обрекать себя на поиски земного счастья. Это действительно было у нас общее, у него и у меня, только у каждого на свой лад. Земля становится джунглями. Все позволено, если пытаешься осчастливить человечество или добиться счастья для себя самого. И нет никакой альтернативы нашему страстному желанию, желанию, обостренному небытием. . . Видите, не все еще потеряно, возможно, и меня тоже ждет мой высоконравственный конец. Нет, я не смеюсь над вами. Скажем, что я нигилистка, вот и все. Дики оказался прозорлив. Анархисты чересчур робки. Им не хватает решимости идти до конца. В страсти, в экстремизме нужно всегда идти до конца и даже немного дальше. В противном случае всегда найдется еще больший экстремист, чем ты. К нигилистам я питаю самые нежные чувства. Арман был прав по меньшей мере в одном: свобода – это самое ценное, что у нас есть. Итак, я решила избавиться от своего тирана. Теперь я сама собиралась преподать ему урок терроризма, предоставив ему и время, и возможность хорошенько над всем этим поразмыслить. . .

Она глубоко вздохнула и начала одеваться. То, что она собиралась сейчас сделать, уже не казалось ей ни ужасным, ни даже Жестоким: поступить иначе она просто не могла. Лишь слегка обозначилась на ее лице чуть виноватая улыбка, пока она поправляла на себе одежду и прическу: так же улыбался ее сын, когда чувствовал, что провинился. Она попрощалась с Арманом, и теперь он никогда уже не покинет ее. Они тихонько будут вместе стареть, безмятежно живя бок о бок безо всяких историй, вдали от Истории. Она его проучит, покажет ему, на что способно его любимое человечество, когда, в свою очередь, оно тоже отдается страсти. Очень знатная дама, которую ничто не в силах скомпрометировать, чья репутация, с тех пор как она заставляет страдать всех тех, кого любит, ни разу не подверглась сомнению,

и ее нетленный возлюбленный, который в конечном счете простит ее, когда обдумает случившееся, прежде чем умрет: он отнесет все за счет какого-либо класса, общества, среды. Это будет не очень-то красиво, но он лучше, чем кто-либо, знал, что нельзя любить страстно, не нарушая иногда правил светского общения, правил хорошего тона. . .

– Я почти как наяву видела одобряющую улыбку Дики. Я так хорошо запомнила его совет: «Бросьте бомбу и вы тоже. Окунитесь в его среду, среду эмоционального экстремизма. Кстати, вы не находите, что он стоит чуть правее? Слева от анархистов стоят нигилисты, не будем этого забывать. . . Есть еще. . . мы».

Да и вряд ли это можно было назвать планом, скорее, просто женский каприз. . .

Арман лежал на кровати, глаза его были закрыты: он словно ждал возвращения своего тела. Она не осмеливалась разглядывать его чересчур откровенно: некоторую неловкость она все-таки испытывала. Но она знала, что ее одобряют и поддерживают, и это придавало ей решимости, так же как сжигавшая ее страсть и гнев, присутствие которого она ясно ощущала в каждом ударе своего сердца.

– Если бы женщины в мое время умели восставать так, как я, Перси, думаю, нам удалось бы избежать тех грандиознейших гекатомб, что принес с собой двадцатый век. Мне казалось, что я поведу женщин за собой на бунт против храмов абстрактного, где в срубленных головах больше всего любят ум, где самые благородные душевные порывы становятся лишь последними судорогами агонии. . .

Сэр Перси Родинер вдруг очень странным образом изменился в лице: он стал похож на пошляка. Он хитро прищурил один глаз, улыбнулся почти циничной улыбкой, намекавшей на большой опыт и в жизни, и даже в обращении с женщинами, и сказал тем излишне самоуверенным тоном, каким еще невинный юноша спрашивает: «Сколько?» у своей первой проститутки:

– Короче, вы сдали его в полицию.

– Не будьте же таким идиотом, Перси, – сказала Леди Л. – Подумайте, какой скандал. . . Он бы все рассказал, и от меня бы ничего не осталось. Помню, я пребывала в странном возбуждении, а также испытывала очень новое для себя ощущение – ощущение необходимости выполнить свою миссию. . . Во мне впервые как бы просыпалось чувство гражданского долга. Помните, это была эпоха первых выступлений суфражисток, и я уверена, когда станет известно, что я сделала, мое имя окажется в учебниках истории в одном ряду с первыми феминистками Англии. . .

Арман открыл глаза и медленно встал. Роза из алого тюля упала на кровать, и он ее поднял.

– Эти бесценные полчаса могут дорого мне стоить, – сказал он

– Было бы безумием уходить именно сейчас, – сказала Леди Л. – Тебе нужно остаться здесь дня на два, на три. Никто не осмелится шарить в моем павильоне. Это невысказано. Да и ключ только один. Нужно, чтобы улеглись страсти. В полиции считают, что ты уже далеко. Когда все успокоится, ты спокойно уедешь поездом в Уигмор. Это единственное решение.

Он раздумывал, поигрывая розой.

– Вполне логично, Анетта. У тебя поистине трезвый ум.

– А как же иначе. Ведь ты только и делал, что хвалил мою логику и чистый разум.

Он рассмеялся, нежно провел розой по своему подбородку:

– Браво.

– Теперь я тебя оставлю, милый. Не хотелось бы, чтобы мое отсутствие заметили. Мне нужно пойти посмотреть, что там творится. До завтра... Ни о чем не беспокойся. На этот раз все будет хорошо, я уверена.

– Я тоже. И потом, ты знаешь... – Он пожал плечами. – Моя жизнь, твоя жизнь, наша жизнь... В таких людях, как я, никогда не будет недостатка... Возможно, я и не увижу торжества моих идей, но так ли, уж важно тому, кто бросил семя, присутствовать на сборе урожая? Важно, чтобы собрали урожай. И его соберут.

Леди Л. вздрогнула. Он был прав. В таких, как он, никогда не будет недостатка. И урожай будет собран. Сколько миллионов голов? Грядущий XX век, несомненно, стал веком жатвы.

– Верно, – согласилась она. – Мы не в счет. Двоих потеряешь, приобретешь миллиард. В одном только Китае их, кажется, триста миллионов. Нет сомнений, урожаи будут неслыханно богатыми...

Голос ее дрожал. Она мгновенно отвернулась, чтобы он не увидел ее слез. «Да, действительно, слезы – это женщины легкого поведения, – подумала Леди Л., поднося к глазам носовой платок, – и шестьдесят лет иронии, ледяного юмора и Англии так и не научили этих грязных девок сдержанности». Она помнила, как та бедняжка Анетта еще немного боролась, быть может, даже колебалась... Но другого выхода у нее просто не было. Она не могла спасти мир, но помочь ему хоть немного она все же могла. Что же до остального... Пускай человечество найдет себе другого простачка...

Она направилась к двери, тихонько открыла ее и вышла. Парк начинал бледнеть. Был слышен только лай собак, прощавшихся с луной. Секунду она стояла, словно парализованная, закрыв глаза, приложив к груди руку, затем вскрикнула и вбежала назад в павильон.

– Арман, скорее...

– Что такое?

– Они идут... Скорее... Полиция... О, Боже мой, Боже мой...

Она увидела так хорошо знакомую ей ухмылку, которая всегда появлялась у него на лице в минуты опасности, словно жизнь была для него лишь соринкой в глазу, от которой он хотел поскорее избавиться, и с веселым видом, с немного презрительной непринужденностью, казавшейся из-за его придворного платья еще более небрежно-надменной, произнес:

– Черт возьми... Надо бы подстрелить хотя бы парочку...

– Нет!

Сделав вид, что озирается вокруг, она повернулась к мадрасскому сейфу, мгновение поколебалась.

– Сюда, скорее...

Она подбежала к сейфу, повернула ключ в замке и потянула на себя массивную, обитую медью дверь... Заглянула внутрь, облегченно вздохнула: места хватало только-только для одного человека, только-только...

– Спрячься здесь, скорее! Я их спроважу... Да поторапливайся же, ну!

Он подчинился, не спеша, вероятно, стремясь до конца выдержать стиль, продолжая держать в одной руке розу, в другой пистолет. Она схватила сумку с драгоценностями и бросила ему в ноги. Он восхищенно смотрел на нее.

– Чуть было не забыли, – сказал он. – Решительно, мы совершим еще немало великих дел вместе с тобой...

Она нежно ему улыбнулась – ах, эта нежная и чуть жестокая улыбка Леди Л.! Наконец-то она поймала свою улыбку, и теперь ей оставалось только сделать ее знаменитой. Она легонько махнула ему рукой, тихо закрыла дверцу и трижды повернула ключ.

Поэт-Лауреат, приподнявшись в кресле и выпучив глаза, смотрел на странный предмет мебели, словно вышедший из какой-то восточной сказки, и на эту знатную английскую даму, которая зябко кутала плечи в шаль и улыбалась, стоя перед сейфом с ключом в руке.

– А потом? Что вы сделали потом?

– Ну, я вернулась на бал. Если вы не забыли, я обещала танец графу Норфолку. . . Прибыла полиция. Разумеется, они ничего не нашли. Я танцевала, много пила шампанского. . . много. . . О! Оставьте этот возмущенный вид, Перси. Да, я много пила. Кажется, даже захмелела. . . И было отчего, согласитесь. . .

– Вы вернулись в павильон?

– Иногда бывает очень сложно быть одновременно женщиной и дамой.

– Когда вы вернулись в павильон, Диана?

– Перестаньте кричать, Перси, я этого не переносу. . . Говорю вам, я много выпила. Со мной случился приступ буйного веселья.

– Приступ буйного веселья?

– Впрочем, вскоре после этого мы уехали из Англии: мой муж, как вы знаете, получил в конце концов свое посольство. Да, в итоге все получилось довольно удачно. Наш сын, конечно же, стал герцогом де Глендейлом. . . Англичане его очень любят, и он прекрасно справляется со своей работой. Все внуки Армана сделали блестящую карьеру. Подумайте только, Энтони скоро станет епископом, Роланд – министр чего-то там, Джеймс – директор Английского банка. Впрочем, вы все это знаете. Жаль, что он не может этого увидеть. Я им во многом помогла. Я просто обязана была преподать ему урок. Впрочем, лучше, наверное, будет предупредить семью, в конечном счете, я уверена, они помогут мне вывезти его отсюда. Заметьте, мы накануне выборов. Если то, что я сделала, выплывет наружу, партия консерваторов не скоро оправится от шока!

Сэру Перси удалось наконец поднять руку в направлении тяжелого и приземистого сейфа, напоминавшего ладью из какого-то чудовищного комплекта шахмат.

– Вы хотите сказать, что он до сих пор. . . что вы никогда. . .

Леди Л. стояла под портретом своего кота Тротто, поднявшего в атаку кавалерийский эскадрон в Крыму: изображенный поверх благородных черт лорда Рэглана, он размахивал среди пушечных ядер своим хвостом – знаменем Святого Георгия. Благожелательно наблюдал за ней попугай Гавот, желтый клюв и перья которого заменяли нос и мундир Веллингтона, находившегося на поле битв при Ватерлоо. Обезьяна по кличке Бадин защищала свободу посреди трупов при Бородино, прекрасно чувствуя себя в мундире старика Кутузова. Понго, щенок породы пекинес, показывал свою голову народу на гравюре, изображавшей Робеспьера, а у молодого Бонапарта, стоявшего перед убитыми солдатами, был клюв нежной самки-попугая Матильды, которая, однако, никому не сделала ничего худого. Леди Л. стояла с высоко поднятой головой, с улыбкой на губах, окруженная своими друзьями. Несмотря на их молчаливость, ей всегда казалось, что они понимают ее и поддерживают. Осуждать ее могли только женщины, никогда и не помышлявшие о том, чтобы избавить своих сыновей от влияния великих исторических деятелей, либо те, что были способны полюбить за свою жизнь нескольких мужчин.

Поэт-Лауреат осознал, что Леди Л. продолжает говорить.

– В сущности, мне очень не повезло, – посетовала она. – Я могла бы полюбить пьяницу, картежника, прохвоста, наркомана. . . Но нет! Случилось так, что я полюбила настоящего идеалиста. И вот я тоже скатилась к терроризму. Скажем, я оказалась способной ученицей, не более того. Сколько раз, милый, я приходила сюда и с улыбкой отчаяния рассказывала тебе

эту оду, которую ты бы мог сам посвятить человечеству, своей единственной «прекрасной даме, не знающей пощады».

Ах, надо же мне было вас увидеть
И, полюбив, об этом вам сказать,
Чтоб вы, не побоясь меня обидеть,
Решили все же гордо промолчать.

Ах, надо же так было полюбить.
Чтоб вы надеждою меня не одарили,
Чтобы я стала вас боготворить,
А вы меня за это погубили!

Она повернула ключ в замке и открыла дверцу. Пистолет лежал рядом с кожаной сумкой, а с пожелтевшего придворного платья слетело небольшое облачко пыли. Арман Дени сидел в задумчивой позе, голова его была опущена к розе из алого тюля, которую он все еще держал в руке.